



Елена Семеновна Чижова

Терракотовая старуха

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2916335
Неприкаянный дом: [романы]: Астрель; Москва; 2012
ISBN 978-5-17-074716-0, 978-5-271-36422-8

Аннотация

Елена Чижова, автор бестселлера «Время женщин», романов «Крошки Цахес», «Лавра» и «Полукровка», неизменно выбирает главным героем яркую незаурядную женщину.

Татьяна, героиня романа «Терракотовая старуха», бывший вузовский преподаватель, видит окружающий мир сквозь призму великой русской литературы, но... резко меняет свою жизнь: устраивается менеджером в фирму успешного предпринимателя, «нового русского», – становится его правой рукой. И – на войне как на войне: фальшивая печать, подделка таможенных документов – обычное дело!.. Главное – деньги. Нужно кормить маленькую дочь.

И теперь, двадцать лет спустя, Татьяна пытается понять, кто же она в итоге – виннер (победитель) или лузер (проигравший)?

Содержание

Часть I	4
Убили или убил?	4
Помогла бы или не помогла?	14
Убил?.. Зачем?	19
Свободный фасон	25
Откуда нам было знать?	31
Не Европа	36
Временный ввоз	48
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Елена Чижова

Терракотовая старуха

Да, и теперь кто-то стучится, кто-то, новый человек, с новым словом – хочет отворить дверь и войти... Но кто войдет – вот вопрос...

Ф.М. Достоевский

Какая бы хорошая, нужная и великой важности работа была бы – народный самоучитель, с правильным распределением знаний по их важности и нужности.

Л.Н. Толстой

Часть I

Убили или убил?

Женщина средних лет идет по Невскому проспекту. Со стороны может показаться, что она улыбается: края губ слегка вздернуты. Уголки тянутся вверх. Ее бывший муж называет эту улыбку *архаической*: легкое мышечное напряжение. Ему не соответствует выражение глаз.

Она думает: «Лучше не оглядываться. Куда ни глянь, сплошные витрины. Стоит только оглянуться...»

Миновав «Макдоналдс», женщина пересекает улицу Рубинштейна. Раньше на этом углу был магазин «Рыба».

«Странно... – она одергивает себя. – Будто я – тайный шпион. Вроде Штирлица. В каком-нибудь вражеском городе...» Эта мысль кажется ей смешной. Настолько, что она намеренно оглядывается. Ее отражение, оглянувшись ненамеренно, смотрит ей в глаза.

Отражение – существо среднєго рода. Оно думает: плохо одетая женщина – тоже.

Женщина, одетая в *секонд-хенд*, подходит поближе. Со стороны это должно выглядеть так, будто женщина, идущая по Невскому, остановилась у витрины. Отражение тоже делает шаг навстречу. В русском языке есть подходящая идиома: сделать шаг навстречу – попытаться понять.

То, что на ней надето, – ее собственная одежда. Юбка, куртка. Темно-коричневые сапоги. Много лет назад она купила их в самом дорогом магазине. Тогда она могла позволить себе многое. Ее отражению эта одежда досталась по наследству. Той женщины больше нет.

Отражение опускает глаза. Вчера они ехали в автобусе. Женщина средних лет, одетая в свои собственные обноски, стояла, держась за поручень. Ее отражение стояло напротив – в автобусном окне. Оно тоже держалось за поручень. В автобусе лучше за что-нибудь держаться.

«...Ага. В COSMOPOLITAN. Прикинь, Мадонна, и та не гнушается». – «Ну уж!» – «Вот тебе и ну уж! Так и написано: не гнушается. Это старье называется *винтаж*...»

Две подружки, отражаясь друг в друге, обсуждали какую-то статью. Черные брючки, лаковые сапожки, сумочки из грубого дерматина – дешевая имитация натуральной кожи. Женщина и ее отражение смотрели друг на друга, невольно прислушиваясь. Про себя они отметили: *гнушаться*. В разговорном языке такие глаголы – редкость.

«А я гнушаюсь! Еще не хватало... Во-первых, это опасно. Винта-аж... Обноски. Обыкновенный секонд-хенд. Ты же не знаешь, кем она была...» – «Мадонна?!» – «Да при чем здесь Мадонна! Другая, которая носила раньше. А вдруг какая-нибудь ду-ура? Наденешь, а оно и пристанет. По телеку говорили. Я сама слышала...»

Две девочки, похожие на студенток-первокурсниц, сошли на ближайшей остановке.

Женщина и ее отражение вздохнули одновременно. Когда-то давно они тоже были студентками. Потом преподавали в институте, потом работали на Фридриха. В те времена они не гнушались оглядываться – смотреть друг другу в глаза.

По тротуару движется толпа иностранцев. Идут, не разбирая дороги. Глазеют по сторонам.

Женщина думает: «Надо посторониться». Делает шаг вперед. Теперь она стоит у самой витрины. От нее до отражения – подать рукой. Они близки как никогда. Стоит протянуть руку, и пальцы встретятся. Но – что это? Отражение исчезло. Глаза различают только *товар*. Юбка, брюки, сапоги на высоких шпильках. Тонкая кашемировая шаль. В этом сезоне в моду вошел лиловый. Глаза манекенов смотрят мимо – гнушаются глазами прохожих. Женщина хочет убедиться: неужели это так просто?

Она делает шаг назад: ее отражение возвращается в то же мгновение.

Шаг вперед – пустые улыбки манекенов.

Шаг назад – снова она: бывшая женщина, одетая в свой собственный секонд-хенд. Ей не хочется, чтобы *оно* пристало. *Оно*: ее прежняя жизнь. Студентка, институтский преподаватель, удачливая бизнес-леди. Женский род, мужской род, снова женский... «Нет, – она поправляет себя, – бизнес-леди – существительное среднего рода. В своем роде тоже *оно*...»

Ее отражение стоит перед глазами. Ей хочется поднять на него руку, врезать по стеклу, шарахнуть изо всех сил – пусть бы рассыпалось осколками. Ей кажется, будто оно уже рассыпается. Прохожие шагают по осколкам. В каждом осколке таится ее отражение. Под чужими ногами осколки мешаются с грязью.

Женщина делает шаг вперед.

Отражения – как не бывало. Она чувствует себя невидимкой. У невидимок не бывает отражений. Невидимки не смотрят себе в глаза.

Теперь она стоит у самой витрины. Ей некуда спешить и нечего бояться. Между ней и *оно* – глухая стена. Стена – надежная преграда, не дающая отражений.

Шаг назад. Женщина замирает: вот сейчас оно снова явится – убогий *лузер*, глядящий на мир твоими глазами...

Ничего подобного. Отражения нет как нет. Похоже, ему наскучила эта игра. Оно ушло в глубину, спрыгнуло с витрины, улизнуло в торговый зал, смешалось с деловитыми покупательницами... Вот оно идет вдоль вешалок, намереваясь примерить что-нибудь из самой последней коллекции. Манекены спешат навстречу. Их лица озаряют архаические улыбки: края губ слегка вздернуты. Уголки тянутся вверх. Но сами глаза этому не соответствуют: они пусты.

Вдоль задней стены магазина растянута красочная надпись:

У нас одеваются ваши отражения.

Ее бесславное отражение, осколок ее прошлого, скрывается в примерочной кабинке.

Женщина-невидимка ликует: как же славно!

Она отступает от витрины, идет по Невскому легкой походкой. Пока *оно* занимается шопингом, она предоставлена сама себе. Теперь она может стать кем угодно. В отсутствие отражения это легко. Стоит только взглянуть чужими глазами...

Например, вот этого иностранца.

Мятые джинсы, пивное брюшко, легкая стеганая куртка. Он стоит у самого поребрика, оглядываясь по сторонам.

Интересно, о чем он думает, когда идет по Невскому проспекту? Ей хочется проникнуть в его мысли. Это нетрудно, если ты превратилась в женщину, которая не отражается в зеркалах...

«Петербургцы могут гордиться. Их Nevsky определенно похорошел. Теперь он ни в чем не уступает главным европейским улицам: кафе, магазины, нарядные витрины. Трудно поверить, что каких-нибудь десять лет назад здесь все поражало ветхостью...»

Он помнит: тогда, прилетев из Европы, попал в умирающий город. Безносые кариакиды. Лепнина, осыпавшаяся с фасадов... Теперь – и в помине нет.

Глаз европейца ласкает реклама: такие же картинки развешаны в его родном городе. Во всех европейских городах. Приятно, оказавшись на Невском, обнаружить ту же самую красотку, которая маячит перед твоим домом: утром, садясь в такси, ты безучастно скользнул по ней взглядом, не подозревая, что по прошествии нескольких часов она подмигнет тебе на главной улице бывшей русской столицы... На мгновение европейцу кажется, что он понимает по-русски: всюду, и здесь, и в Европе, девицы предлагают один и тот же продукт...

Женщина, улизнувшая от своего отражения, идет по мосту, любуясь конями Клодта. Упираясь копытами, кони рвутся на свободу. Не так давно их возили на реставрацию. Она думает: «На месте коней я бы этим воспользовалась. Из мастерской дать деру проще. Нельзя упускать шанс, который дается раз в сто лет...»

У постамента собралась стайка иностранцев. Голос девушки-гида тонет в шуме машин. Иностранцы слушают невнимательно. Вряд ли их интересуют подробности: какое им дело до этих русских коней...

Женщина переходит мост, идет мимо бывшей аптеки. Теперь в ней открыт суши-бар.

Европеец, чьими глазами она воспользовалась, куда-то исчез. На мгновение ее глаза становятся своими. Женщина спохватывается: «И с чего я взяла, будто он – бывалый турист? Вполне вероятно, приехал впервые».

Агентство обещало экзотический тур. Клерк, оформлявший билеты, божился, что в России все иначе. Уж он-то знает: случалось бывать по службе. Лет пятнадцать назад.

«Эти русские...» – клерк заводит глаза к небу. Не поймешь: не то ужасается, не то пребывает в восхищении. Когда-то давно, в начале девяностых, он посещал поэтический семинар. Последние студенческие годы... В юности это кажется важным – приобщиться к высокому. Приблизиться к подножию Парнаса. Клерк улыбается смущенно. Поэзия – не его специальность, но вы же помните, он обращается к клиенту, тогда это было модно: все, что связано с Россией. Русский язык и литература. Ему попался прекрасный профессор – выходец из бывшего СССР. По-немецки говорил плоховато, но о русской поэзии рассказывал с подлинным энтузиазмом: Pushkin, Tsvetaeva, Brodsky – клерк перечисляет трудные имена. «О, – качает головой, – русские – великие поэты... Знают толк в литературе. У них есть чему поучиться». С этим утверждением клиент согласен: классическая русская литература – раскрученный *бренд*. Образованный человек должен иметь хотя бы самое общее представление. Tolstoy, Dostoevsky – к этим именам Запад привык.

«Жаль, что вы не бывали раньше. Когда Петербург назывался Ленинградом. Русские, – клерк справедлив и отдает должное, – дали миру множество новых слов: sputnik, Gulag, intelligentsia», – перечисляет первые попавшиеся.

В ее воображении эти двое разговаривают по-русски, но клиент кажется ей немцем. Возможно, ее сбивает с толку образ Штольца. Нынешняя школьная программа относится к нему с уважением: Штолец – эффективный менеджер.

«Ладно, – она думает, – пусть будет немцем». Каким-нибудь Штольцем IV, правнуком того, обломовского: за прошедший век его семья успела забыть русский. Но сам он помнит время, когда сообщениями из России пестрели первые полосы. В его памяти остались броские заголовки: «Танки на улицах Москвы», «Граничит ли Россия с Богом?», «Кто станет правопреемником СССР?».

«Россия – великая страна. Русские писатели ставили извечные вопросы: о нравственных основах жизни, совести, драме человеческой души, – клерк подбавляет жару. Путевку необходимо продать во что бы то ни стало. В кризисные времена важен каждый клиент. В начале девяностых *русское направление* было весьма популярным. От новой России Европа ожидала многого. Например, литературных шедевров. Казалось, еще чуть-чуть, и миру явятся новые гении. – Да, именно великая. Но чтобы это понять, вам понадобятся особые глаза. Надо смотреть внимательно, – клерк чуть-чуть понимает по-русски. Его русского языка вполне достаточно, чтобы давать полезные советы даже потомкам обрусевших немцев, чьи предки вошли в золотой фонд классической русской литературы. – Один русский поэт, не самый великий, – на этот раз клерку не вспомнить фамилии, но клиент и не настаивает, – сказал, что эту страну нельзя измерить общеевропейским метром. Другая метрическая система. Иногда, – клерк переходит на доверительный шепот, – просто не веришь своим глазам...

Русские добры и доверчивы, – клерк страдает легким косоглазием. Порой это становится особенно заметно. – До сих пор верят рекламе. Конечно, не все, но в большинстве. Возможно, это следствие наглядной агитации, осталось с прежних времен».

Клиент изумляется: «Неужели?»

Левый глаз клерка косит все сильнее: «Да, представьте себе».

«Странно. И чем вы это объясняете?»

«Ну... – клерк на мгновение задумывается. Вопрос клиента застал его врасплох. – Возможно, коммерческая реклама кажется им продолжением коммунистической пропаганды: “Ремонт – пятилетний план народа!”, “Планы партии – это CASTORAMA!”, “Пятилетку – в четыре года? Тогда мы идем к вам!”».

«А это не *передается*?» – клиент колеблется. Хватит с него прадедушки. Лестно остаться в великой русской литературе, но, слава богу, хоть деду удалось сбежать. Вырваться из дивного нового мира. Сделать ноги в 1918-м. Чуть ли не с последним кораблем.

В глазах клиента мелькает ужас.

Клерк тоже напуган: кажется, он зашел слишком далеко. Он думает: «Я сошел с ума! Еще немного, и клиент откажется от тура...»

«Конечно, нет! – он уверяет со знанием дела. – Во-первых, *этим* заболевают только аборигены, а во-вторых, русских можно понять: раньше они не жили в обществе потребления. Строили свой коммунизм. Отмечали советские праздники, ходили на демонстрации. Теперь их главный праздник – *шопинг*. Крупные универмаги вынуждены это учитывать: свои фасады они украшают флагами и транспарантами...»

Женщина-невидимка чувствует усталость. По тротуарам расставлены кокетливые столики. За уличными столиками нельзя сидеть *просто так*. Будь она своим отражением, она могла бы себе позволить сесть, заказать чашечку кофе. Ее отражение, одетое по последней моде, предпочло бы капучино. Говорят, его рецепт придумали монахи. Большая чашка, куполок из вспененного молока...

Она идет мимо. Ее отражение выбирает столик. Взмахом руки подзывает официанта. Нынешние официанты расторопны – не проходит и минуты, как приносят заказ. Губы ее отражения касаются молочной пенки. Монахи знали толк в кофе – у них было слишком мало радостей, чтобы пускать это дело на самотек...

*А за столиком в кафе-ешке разреши поцеловать тебя в ще-ечку, я
открою все-е свои фишки, болевые-ые точки...*

Девушка, сидящая за соседним столиком (черный плащ, торба с агрессивным рисунком, на ногах высокие *гады*, темный нарочитый макияж), едва заметно морщится. Подзывает официанта, просит приглушить звук. Похоже, ее раздражает песня.

Ее спутник откладывает меню: «Пожалуйста, два капучино». Девушка-гот возвращается к прерванному разговору: «И что социологические опросы?» – «Социологические опросы, – молодой человек похож на обычного клерка: строгий костюм, начищенные ботинки, – показывают, что в стране происходят системные изменения. Необратимые... Но, конечно, не всё сразу. Из прошлого так просто не выпрыгнешь – за здорово живешь. Предстоит большая работа. Огромная». Официант приносит кофе. Девушка, одетая готом, сыплет сахар из бумажной трубочки. Запах кофе мешается с ароматом сливок...

На самом деле ничего этого нет. Она стоит у перехода, дожидаясь зеленого сигнала. Рядом с ней – девушка-гот. Женщина-невидимка оглядывает украдкой: милое личико, его не портит даже краска – брови, ресницы, иссиня-черные пряди. Ее жизнь только началась...

Женщина, выпавшая из времени, переходит Садовую у самых *ленинских* шуб. Так они с дочерью называют круглую витрину – памятник на постаменте – угол Садовой и Невского: фирма «Лена» рекламирует натуральные шубы. Этот памятник не похож на своих бронзовых собратьев. Со временем он идет в ногу – демонстрирует этапы большого пути: от мешковатых песцов до выстриженных дизайнерских норочек.

Женщина-невидимка отворачивается. Ей нет никакого дела до *их* дорогих магазинов. Там заправляют вышколенные продавщицы. Она думает: «Для них мы – *лузеры*. Лузеры боятся презрительных глаз...»

– Татьяна!

Я слышу, но не оборачиваюсь. Кому придет в голову окликать невидимку...

– Татьяна!

На этот раз я все-таки обернулась. Она стоит на ступеньках «Пассажа» и машет мне рукой.

Короткий плащ, высокие замшевые сапожки. В руках темная обувная коробка. Могу себе представить, как оживляются продавщицы, когда она, прирожденный *виннер*, сворачивает к ним в отдел.

– Вот, – Елена качает дорогой коробкой. – Завтра *корпоративная вечеринка*. Вчера купила, а дуры-продавщицы все перепутали. Представь, сунули два правых. Пришлось ехать и менять. Говорю: не я, это вы должны были проверить. За это вам платят деньги.

Для таких магазинов требуется особая стилистика. Лузер скажет: платят. Просто платят. *За это вам платят*. Виннеры говорят: *платят деньги*.

Когда-то давно мы обе работали на Фридриха. Те, кто пришел за нами, – слабаки. У них нет нашего прошлого, из которого мы вытягивали себя за волосы. Как из болота. И, в общем, вытянули: кто как сумел...

– Ну, как ты? – Елена улыбается. – Представляешь, вчера мне приснились наши диваны!

Диваны, обтянутые флоком или кожей – в отдельных случаях натуральной. Между собой мы называли их *двухжопные* и *трехжопные* — в зависимости от длины. Наши цеха работали в две смены. Диваны и кресла сходили как с конвейера. Случалось, их громоздили друг на друга. Во избежание финансового затора эту проблему требовалось *разрулить*. Фридрих нервничал: черт, придется брать ссуду. Хорошо, если в банке: все-таки меньшее из двух зол.

Впрочем, его не пугало и *большее*. Скорее, раззадоривало.

Раз уж мы встретились, я должна спросить про Фридриха: задать вежливый вопрос.

В этом нет ничего особенного. Я просто спрошу: «Ну и как он?» А Елена ответит: «Нормально. Ты же знаешь, он привык *биться*...»

Еще бы мне не знать.

А потом мы немножечко поболтаем и разойдемся в разные стороны. И я опять стану женщиной-невидимкой. Забуду и о нашей случайной встрече, и о мимолетном разговоре. Уже к вечеру он выветрится из моей памяти: станет давней историей. В сущности, самой обыкновенной. Если учитывать время, выпавшее на нашу долю. Наше прошлое, куда мне не хочется возвращаться.

– Ну, и как *он*?

В моем вопросе главенствует небрежность.

В ответ я ожидаю услышать набор коротких фраз: они должны означать, что Фридрих добился многого, хотя и не без усилий, но Елена, блондинка и героиня нашего вестерна, отвечает:

– А ты не знаешь?! Об этом писали... Фридрих убил человека и теперь *в бегах*.

Я ничего не успеваю: ни удивиться, ни испугаться. Просто стою, пытаюсь собраться с мыслями: они разбегаются в разные стороны. Как крысы с тонущего корабля.

– Когда?

– Давно. Лет пять или шесть...

Она рассказывает будничным тоном, коротко и толково, словно о каком-нибудь производственном задании. Перечисляет подробности. Их обнародовала газетенка местного разлива.

По слухам, которыми кормятся этого рода издания, все случилось ночью, часа в два-три, в административном здании, точнее, в его кабинете.

Дальше, скорее, домыслы. Вроде бы тот, кого впоследствии назвали жертвой, сам напросился на разговор, а может быть, Фридрих его пригласил, но как бы то ни было, на фабрике они оказались вдвоем, если не считать круглосуточную охрану – в камерке у самых ворот.

Гостю газетчики отвели роль не то приятеля, не то бывшего партнера, с которым они с Фридрихом что-то не поделили, а значит – вывод автора заметки, – стороны обсуждали взаимные претензии.

– Судя по всему, из *кредиторов*.

– Да? – я пытаюсь собраться с мыслями. – И кто именно?

Елена называет фамилию. Это мне ни о чем не говорит. Мы и раньше знали далеко не всех. К тому же с тех пор прошло много времени. Кого-то наверняка убили, кто-то *вышел в люди*.

– Сколько времени потеряла! – Качнув коробкой, она возвращается в обувное русло. – Вроде и магазин приличный, а все равно возят *со стоков*...

Новое слово придает жизни приятный привкус. Ей тоже не хочется погружаться в прошлое. Она живет настоящим. Время виннеров движется стремительно. Каждая минута – на счету.

– Нет, подожди, – собравшись с мыслями, я стараюсь вычленить главное. – Неужели прямо в кабинете?

– Ага, – она кивает довольно легкомысленно. – Так написано.

– А водители?

Гость приехал один. Своего Фридрих отпустил часов в двенадцать. При этом раскладе свидетелей быть не могло.

В заметке, опубликованной на последней странице, сообщалось, что гость с территории не выехал, во всяком случае, самостоятельно. Припаркованная машина осталась во дворе. Сам Фридрих, как выяснило следствие, уехал на собственной.

– Нет, не на «вольво». Помнишь «мазду»? Синяя, похожа на маршрутку.

Я смотрю недоверчиво: «мазда»? Неужели та самая? Скорее всего, новая. Внучка той, старой.

– Ну так вот...

Я слушаю и киваю.

Если не брать в расчет место действия, остается предположить, что гость – по каким-то неясным причинам – отбыл пешком, но по прошествии суток (за это время следователи успели установить его личность) оказалось, что *кредитор* исчез бесследно, а главное, с ним вместе исчезла и темно-зеленая портьера. Важная подробность. Эти портьеры я помню: их подшивали при мне. Внизу, в нашем швейном цехе. Скорее всего, портьера тоже новая. Новая, старая... В конце концов, это не имеет значения. Если она исчезла, неудивительно, что они заглотили наживку: следствие пришло к выводу, будто Фридрих завернул в нее труп. Видимо, чтобы доволочь до «мазды» и сбросить где-нибудь на помойке. Машину шефа – что естественно – охрана выпустила без досмотра.

Машину ночного гостя обнаружили к середине дня, точнее, обратили на нее внимание, когда водитель Фридриха подъехал на «вольво» – по странному совпадению, тоже белого цвета.

Выстрелов, конечно, не слышали. Само по себе это тоже неудивительно: каморку охраны и административный корпус разделяет длинный пошивочный цех. Этого следствие во внимание не приняло, заключив, что Фридрих орудовал ножом либо, учитывая отсутствие следов крови, даже замытых, использовал быстроедействующий яд.

– Боже ты мой... – я усмехаюсь. Елена возвращает усмешку.

Конечно, мы поняли друг друга. Чего тут не понять?

Если отбросить романтические глупости, в сухом остатке получалось следующее: Фридрих, один или с мертвым гостем, отбыл глубокой ночью, точнее, часов около трех – охрана ясно видела его лицо сквозь стекло «мазды». В тот же день он и скрылся, что, по мнению следствия, говорило само за себя.

– И ты веришь?

Я не ждала ответа. Просто пыталась представить себе его логику. По моим представлениям выходила полная чушь. На это могли купиться разве что следователи.

– А что если?... – мне не хотелось договаривать, но Елена меня поняла.

– Да нет. Говорили, звонил. Тогда еще. Правда, один раз и с чужого номера, – она поймала мой взгляд. – Но в принципе... – отвела глаза, – я как-то не подумала...

Мы снова говорили на равных – ветераны минувшей войны. Разница в том, что она дослужилась до полковника, а меня разжаловали в рядовые. Рядовые не обязаны думать – их дело выполнять приказы.

Я думаю: «Тот, кто звонил, мог подделать голос». Записать на пленку, нанять имитатора – бывают такие мастера. Несколько фраз сквозь телефонные помехи...

Если так, значит, все выворачивается наизнанку: не убил, а *убили*...

– Ой, – Елена роется в сумке, – совсем опаздываю. Слушаю, – это уже не мне. – Нет. Да. Ее голова занята текущими делами. Мало ли неприятных историй... Раньше такое случалось сплошь и рядом, теперь, конечно, реже.

– Ты-то как? – она спохватывается.

– Нормально. В двух словах не расскажешь... – я тоже спохватываюсь: – А ты?

Их фирма ввозит импортные шмотки, *со стоков*, по два доллара за кило.

– Для своих – по себестоимости, – она протягивает мне визитную карточку. – Заезжай. Что-нибудь подберем.

Я трогаюсь с места. С трудом. Ковыляю, словно на мне одинаковые туфли – с одной ноги. Оба левые. Или – правые. Шаг. Другой. Кто-то следит за мной. Это – оно, мое отражение: женщина, одетая в секонд-хенд. На меня оно смотрит чужими глазами – глазами моей бывшей сослуживицы: пока мы стояли на ступенях, успела оглядеть меня украдкой – с головы до пят. Пожалела. Обещала помочь по старой памяти. По нашей общей старой памяти...

Я поворачиваюсь к витрине. Делаю шаг вперед.

Еще один, и мой рецепт сработает. Я увижу *только* товар. У женщины, замершей перед витриной «Пассажа», должны разбежаться глаза: платье, костюм, небрежно брошенный шарф. Ниспадающий красивыми складками. А может быть, блузка и брюки. Элегантные кожаные туфли... Или – нет. Высокие сапоги. Вроде тех, что лежали в ее коробке.

Я всматриваюсь, пытаюсь понять, во что одеты *их* манекены, но вижу только свое отражение: женщина, одетая в старье.

Шаг – назад.

Из глубины витрины на меня смотрит мое отражение. Оно шевелит губами: «Старье. Вот именно – старье».

Какое мне дело: *убили или убил?*..

«Вот именно», – мое отражение соглашается услужливо.

Для меня это – *праздный вопрос*. Фридриха я не видела целую вечность. Если бы не случайная встреча, вообще ничего бы не узнала. А кроме того... – Мы смотрим друг другу в глаза: я и мое отражение, оставшееся в прошлом. Во всяком случае, если *встречать по одежке*. Вопросы надо решать с холодной головой. Самое глупое – приплетать чувства.

В прошлом, в котором я осталась, мы могли позволить себе многое. За исключением праздных чувств.

Доводы звучат убедительно. Я отворачиваюсь и иду своей дорогой, стараясь не хромать. С каждым шагом у меня получается все легче. Не хромать и не думать. Не думать и не хромать.

Для женщины, в которую я превратилась, метро – самое подходящее место. Тем, кто ничего не чувствует, самое место – под землей...

Осторожно, двери закрываются.

«Или все-таки?..» – я прислушиваюсь к себе.

Следующая остановка – «Площадь Александра Невского».

Голос, звучащий из динамиков, бьет в висок.

Зря я спустилась под землю. Надо было сесть в троллейбус.

При входе и сходе с эскалатора соблюдайте осторожность.

«Осторожность... Это правильно», – я берусь за поручень. Эскалатор выносит меня на поверхность. Я выхожу из вестибюля. Замираю под козырьком. Люди, идущие мимо, обтекают меня, как щепку: еще секунда, и ее втянет людским водоворотом. Какое им дело, что где-то кого-то убили? Или убил...

Дело не в чувствах. А в том, что у меня мало информации. Но это не имеет значения. Информация появится позже, когда в голове что-нибудь сложится. Я отхожу в сторону и прислоняюсь к стене.

В виски больше не бьет. Теперь я чувствую только собранность, как будто там, в глубине сознания, включился механизм. Отлаженный. В нем нет лишних шестеренок, отвечающих за праздные чувства. Такой, каким он был раньше, когда я работала на Фридриха.

Я усмехаюсь: был и остался. *Это* не исчезает. Никуда не девается. Когда надо, включается с поворотом.

Там, куда я вернулась мысленно, можно начинать с любого предположения. Я выбираю первое попавшееся: положим, *убил*.

В этой части Невского тихо и малоллюдно. Здесь нет крупных универмагов – исключительно дорогие бутики. За стеклами витрин дожидаются вышколенные продавщицы. Кроме них, внутри никого. Я иду, не оглядываясь на свое отражение. Просто иду и думаю. Это Фридрих научил меня видеть главное. Иначе мы не сумели бы сработаться. Тогда я ничего не боялась. Входила в любые двери...

Я открываю дверь и вхожу.

Манекены, нарядно одетые, смотрят в другую сторону. Вышколенные продавщицы ловят мой взгляд. Я не вижу их лиц: мне нет дела до их безмолвного присутствия. Продавщицы выходят из-за прилавков. Они не видят моей одежды. Потому что видят главное. За это им *платят деньги*.

Платья, развешанные на металлической стойке, вспыхивают дешевыми *стразами*. Подсветка оттеняет искусственные бриллианты. Я подхожу и раздвигаю вешалки: черное платье, расшитое по вороту, падает к моим ногам. Продавщица нагибается и подхватывает. За это им тоже платят деньги.

– Заходите еще. Скоро новое поступление... – Продавщица, поднявшая платье, провожает меня до дверей. Для таких, как она, пятнадцать тысяч – совсем неплохая зарплата. Эти деньги надо отрабатывать. *Свои* я отрабатывала всегда.

Я иду к троллейбусной остановке.

«Убили или убил?»

Две равноправные версии, которые надо отрабатывать, как деньги: подробно и с самого начала. С начала – так с начала. Я помню. Помню, когда *оно* началось. Или – раньше? Нет. Именно тогда.

В тот день мы с Фридрихом уезжали с Парнаса. Я сидела рядом с водителем. Фридрих, как обычно, – сзади.

Белая «вольво» двигалась по бетонке, слегка вздрагивая на стыках. Щадя амортизаторы, водитель соблюдал осторожность. По обочинам, через равные промежутки времени, вырастали столбы. Пустые железные тарелки испускали слабое дребезжание.

Обычно мы ехали молча, но в тот раз он сказал: «Если что, сразу пригнитесь...»

Я обернулась и увидела.

«Короткоствольный. Дорогая игрушка. Очень дорогая», – Фридрих гладил короткий ствол. Игрушка вороненой стали лежала у него на коленях. С тех пор мы так и ездили. Первое время я старалась не оборачиваться. Потом привыкла...

Помогла бы или не помогла?

За троллейбусным окном ползет район новостроек – скопление сероватых корпусов. Пустыри зарастают новыми бетонными коробками. Я пробиваюсь к двери. Выхожу на своей остановке. Пошарив в кармане, достаю пачку сигарет.

Теперь, когда механизм включился, мне больше не надо оборачиваться. Она стоит перед глазами: Парнас – унылая *промзона*, застроенная в советские времена.

В первый раз я приехала туда осенью. На бумажке, с которой сверялась, значился 6-й Нижний проезд. Поэтическое название *ничему* не соответствовало. Кастальский ключ, Аполлон, безумие вакханок... Эсхил, Софокл, Эврипид – древние греки, вошедшие в золотой фонд мировой культуры. Гесиод с его всемирным потопом. После потопа остались камни, из которых выросло новое человечество. Позже это называли мифом.

Ни о чем таком я не думала. Просто глазела по сторонам.

Справа железная дорога, слева – корпуса из силикатного кирпича. С виадука, соединявшего Парнас с проспектом Культуры, водитель вывернул на бетонку. Пейзаж напомнил развалины цивилизации. Вздрагивая на стыках, машина сползла на обочину и встала у бетонного козырька. Из выщербленного бетона торчали голые щупальца арматуры. Для полноты картины недоставало только местных жителей: пролетариев с черными ладонями, в которые въелась грязь. Чудом уцелевшие, загнанные под землю, они должны были высыпать нам навстречу. Мы – счастливики, сумевшие остаться на поверхности: Герберт Уэллс, *Война миров*...

Я достаю сигарету. Щелкаю зажигалкой, вдыхаю едкий дым...

Так. Механизм дает сбой на занавеске. Все это время он работал неслышно, как часы.

Только идиот мог сдернуть шелковый занавес, чтобы завернуть в него труп. В этом не было никакого смысла: обмякшее тело, легкая, но скользкая ткань. Выходило, будто убийца совсем потерял голову. Своими руками подложил следствию улику, косвенную, но достаточно красноречивую: отсутствия занавески (одного из трех полотен) упустить не могли. Разве не проще, спустившись в пошивочный цех, отмотать от рулона? (Я прикидываю размер савана: два с половиной метра – как раз на одно кресло.) Кто в здравом уме станет перемеривать оставшийся флок?

От кабинета до железной двери... На ночь дверь в пошивочный цех замыкали на щеколду. Фридрих мог с легкостью отжать.

Или – я.

Вдвоем мы сработали бы четко и грамотно. Я подумала: «Как привыкли».

Во-первых (я прислушиваюсь к шуршанию шестеренок), не стоило вывозить немедленно. Главное – избавиться от чужой машины. В данном случае совпадение играло на руку. Охрана бы не вспомнила, что водитель *уже выезжал* на «вольво». Шеф, покидающий территорию на *своей* машине: кто станет сопоставлять время и уж тем более сличать номера? К тому же охрана работает посменно – этим надо было воспользоваться. Во-вторых, тащить следовало к «мазде». На всякий случай забросать поролоном. Днем можно вывезти спокойно (без документов, *мимо* отдела реализации) – и труп, и поролон. К охране, обязанной проверять накладные на отгрузку, я вышла бы сама. Меня они не посмели бы проверить.

Я иду к будке охраны. Охранник, покачивая автоматом, выходит мне навстречу. Его автомат направлен в другую сторону – не в меня. «Поролон уходит без накладных». Я не обязана давать объяснений. «Нэт вопросов», – он отвечает с легким кавказским акцентом, кивает своему напарнику, который остался в будке. Створы ворот расходятся немедленно.

Собственно, и все.

Задача, которая решается в три хода. Пустая машина в другой части города, бесхозное тело в дальнем лесу. Поролон, доставленный хоть в наш же центральный офис. (Сложить в кладовку.) Но, главное, никаких занавесок. Точнее, все как одна, в наличии.

«Значит, – я прикидываю, – что-то не так».

Открываю дверь, вхожу в парадную. Из-под лифта несет кошками. Отвратительный кисловатый запах поднимается до верхних этажей. Соседка, опекающая четвероногих бездомных, блюдет интересы своей паствы. Прикормленные кошки почитают ее местным божеством. До уборки божество не снисходит: гуманитарная помощь догнивает в пластмассовых площадках...

Нажав на кнопку, я прислушиваюсь к далекому вою: кабина стартует от самых верхних этажей.

В *зоне*, куда я возвращаюсь мысленно, не задают лишних вопросов. Но этот совсем не лишний: «Помогла бы или *не* помогла?»

Голос, подкупленный следователь, выделил отрицательную частицу. В моей трудовой книжке значилось: референт. Референт – слишком мелкая сошка. У *них* я проходила бы как свидетель.

Заперев входную дверь, я иду на кухню. Мое молчание заводит следствие в тупик.

«Да или нет?» Похоже, мне попался *добрый* следователь. Само по себе это ничего не значит. *Злой* вот-вот появится, уже дожидается под дверью: если что, всегда можно позвать. Для этого у них предусмотрена специальная кнопка.

У меня нет другого выхода. Единственный выход – договариваться. Это – не моя история. Договориться и забыть.

Мне *надо* забыть. Для этого нужно ответить прямо: «Нет. Ничего не знаю. И вообще: это – *не мой вопрос*».

Следователь разбирает бумаги. Опечатав кабинет, они перерыли все. Я слежу за руками следователя и думаю о том, что его язык *не катит*. На вопросы, пришедшие из прошлого, следует отвечать *на том языке*...

«А выстрел?»

«Нет. Ничего не слышала».

Выстрела я и вправду не слышала. Когда вошла, труп уже лежал на полу. Раньше мне казалось, что лица убитых должны выражать страдание. У *нашего* оно было просто мертвым. Лежало, уставившись в потолок. Пустой взгляд, слегка приплюснутая переносица. Я отвела глаза и увидела ноги. Одна, неловко вывернутая, запнулась о ковролин. Прежде чем стелить, ковролин обметывают на оверлоке. Угол, шитый белыми нитками, задрался кверху.

«Нет, не видела. – Механизм работает ровно и без перебоев. – В тот день я уехала рано. Часов в десять». – «Шеф оставался?» – «Не знаю». – «Но это странно... Обычно, – добрый следователь заглядывает в бумаги, – на фабрике это знали. Тем более вы его помощник...» Тут я сказала бы: «У вас неверные сведения. Я – простой референт. Подписи, документы, бумажная работа...»

«Хорошо. Распишитесь, и вы свободны...»

Еще бы не свободна! Это они – победители. А я – лузер. Значит, это – не моя война...

Я наваливаюсь на кухонный стол. Упираюсь всеми десятью пальцами. В присутствии трупа любой почувствует слабость.

Да или нет? – этот вопрос не обсуждается. Мы с Фридрихом стоим и думаем: куда девать труп?

«Нет, не на “мазде”, – мою идею Фридрих отвергает с порога. – На моей. Так. Надо бы...» – Он оглядывает занавеску. Темно-зеленую, в ширину окна. «Ни в коем случае! – тут упираюсь я. – Схожу вниз и отмотаю *флока*». Он кивает, выдвигает ящик стола: «Вот, возьмите фонарик. Там щеколда. Надо подсветить и отжать».

Никакой слабости. Деловитость и собранность.

Гость оттягивает руки. Кряхтя и чертыхаясь, мы вволакиваем на заднее сиденье. Я сдергиваю тряпку. Откинувшись на сиденье, мертвый гость следит за Фридрихом: пустые глаза, скошенные к плоской переносице. Фридрих садится за руль.

Машина движется медленно и бесшумно. Мы подъезжаем к закрытым воротам. Охранник, одетый в камуфляжную куртку, выглядывает из каморки. Опустив боковое стекло, я делаю отмашку. Мертвый гость, сидящий сзади, вынужден нам подыгрывать: развалясь на заднем сиденье, он делает вид, будто уезжает с территории. Живым.

Как я и предполагала, наружу охранник не вышел.

Мы трясемся по разбитой бетонке. По обочинам, через равные промежутки времени, встают телеграфные столбы. Пустые железные тарелки испускают слабое дребезжание. Тьма, затекающая под веки, безвидна и пуста.

За рулем Фридрих чувствует себя уверенно. В темноте его профиль становится плоским, как будто вырезанным из картона: лоб, ноздри, ободок рта.

В моих жилах густеет кровь. Спекается кровавыми сгустками. Капля пота бежит по спине. Стоит протянуть руку, и его лицо оживет, станет выпуклым: рот вспухнет бугром. Темнота заливает веки. Еще мгновение, и я сумею превратиться: обернуться диким животным. Утолить свою жажду крови. Как Фридрих – свою.

«Спасибо, – сворачивая на виадук, он благодарит коротко. – Остальное я сделаю сам».

Кровь – горький мед – растекается по жилам. Капля пота оставляет высохший след. Я смотрю вперед и вижу огни большого города.

Рассекая лужи, белая «вольво» идет по проспекту Культуры. Тот, кто сидит сзади, не отражается в зеркалах. Его отражение ушло, исчезло, выпало из нашей жизни.

«Какое-то время меня не будет. Завтра воскресенье. *Эти* придут не раньше вторника. – Я киваю, хотя мне не очень ясно – кто? Следователи или кредиторы? Если кредиторы, то какие именно? – Утром проверяйте отгрузку. Да... Деньги... – это слово Фридрих произносит мягко. – Возьмете в сейфе, сколько понадобится. Главное, не поднимать шума. Что бы ни случилось, вас там не было. Запомните: вы уехали раньше».

Въехав во двор, машина останавливается у моей парадной. В этом нет ничего особенного. Так бывало и раньше. Если не брать в расчет мертвеца.

«Жаль, – выпустив руль, Фридрих улыбается бескровными губами. – В его присутствии я не могу вас поцеловать...»

– Хватит гнать! Есть свидетели: от Фридриха вы уходили по-плохому. Ну? Или вы все забыли? – злой следователь, сидящий в моих мозгах, ставит вопрос прямо. Это добрый торопится закрыть дело. Отработать свои гнилые бабки. У злых времени навалом – они работают не за деньги. Им хватает и куража. – Да или нет?

«Нет, – я думаю, – неправда: ни по-хорошему, ни по-плохому». С нами вообще иначе.

– Да, – я открываю кухонную форточку и отвечаю им обоим – и доброму, и злому – так, как должна ответить. На языке моего недавнего прошлого. – Уходила по-плохому. Но это ничего не значит: *ему* я бы помогла.

Мне хочется сказать: это теперь вы все работаете за деньги. А мы с Фридрихом... Но я молчу. Потому что не знаю языка, на котором с ними можно разговаривать. На их языке этого нельзя объяснить.

Цивилизации распадаются медленно. Процесс, незаметный изнутри. Их крах видят потомки – те, кто удосужится раскопать. Снять пласты земли, обмести черепа и кости, чтобы составить образ времени, в котором было и хорошее, и плохое. Цивилизация, в которой мы выросли, рухнула замертво, оставив по себе бетонные корпуса. В них гулял ветер и пахло гнилым временем. Этой же гнилью воняло и в наших мозгах.

– А как же?..

– Что? – я смотрю мимо, как будто он – убогая продавщица, а я – подпольный миллионер. Если пожелаю, могу купить. Все, что выставлено в их витринах.

Добрый следователь тупится смущенно:

– А как же быть с этим: не убий, не укради?..

Я понимаю. Теперь они все православные. И следователи, и бандиты...

– А это, – пробежав глазами, я ставлю подпись там, где положено, – *не наши вопросы*. Пусть спрашивают с тех, кто *пришел за нами*.

– Ну-у... – он тянет разочарованно. – А я-то думал... Вы же интеллигентный человек. Обязаны сеять разумное, доброе, вечное. А сами...

– Интеллигентный? – я переспрашиваю, не скрывая раздражения. – У вас устаревшие сведения. Я – репетитор. Репетиторы ничего не сеют. У нас другая работа: натаскивать к ЕГЭ.

– Ах, вот оно что... – добрый следователь жмет на кнопку. Подписав протокол, я перешла в другое качество. Не свидетель. Сейчас мною займется его коллега. Вот он входит в комнату, присаживается на *трехжопный* диван. Их диваны обтянуты искусственной кожей. Он бросает руку на спинку, оглядывает меня с интересом.

Добрый следователь встает из-за стола. Нерешительно направляется к двери:

– Вы уж как-нибудь сами... Да. Без меня.

Злой следователь бросает:

– погоди. Я хочу разобраться. Понять мотивы. Без мотива нет преступления. И в чем ты видишь ее мотив?

Он меряет кабинет большими шагами. Будь я виннером, он бы меня понял: виннер – подходящий мотив. Остаться победителем: ради этого можно пойти на все. Не говоря уж о преступлении. Но подследственная – голимый лузер. Злой следователь оглядывает внимательно: старый плащ, юбка, сто лет назад сшитая бывшей подругой. Дорогие, но стоптанные сапоги.

– Ваше социальное происхождение? – вздохнув, добрый следователь включается в работу. У них это называется перекрестный допрос. Теперь он похож на православного батюшку: борода, усы, волосы на прямой пробор. Злой – скорее, на католика: подбородок и щеки выбриты до синевы.

Православный батюшка повторяет вопрос. Я могла бы ему ответить, но в этой комнате нет адвоката. В отсутствие адвоката грешник имеет право молчать. Католический пастырь включается в работу:

– Вы имеете право хранить молчание. Каждое слово, сказанное вами, может быть использовано в интересах следствия...

– Ее родители, – православный батюшка оборачивается к своему католическому коллеге, – были подлинными советскими интеллигентами. Преподавали русский язык и литературу.

– Даже так?! – его коллега замирает на месте. – И после этого... Голубушка, да вы же – выродок, – он щурит левый глаз. – Русский и литература! – он возводит руки горé. – Это же – святое...

– Вот именно, – добрый следователь захлопывает папку. – В нашей-то стране!

Мне понятна их логика: цивилизация, которая рухнула, зиждилась на Великой Русской литературе. Раньше она была нашей верой. С этой точки зрения я выросла в *православной* семье.

– Учтите, – злой следователь, шьющий мое дело, заносит иголку, заправленную мертвой ниткой, – судопроизводство еще не кончилось и, смею вас заверить, никогда не кончится.

Я пожимаю плечами. Меня не проймешь цитатами. В этом смысле я похожа на попа-расстригу: отрекшись от канонов, помню уйму цитат.

Тьма, вставшая за окнами, покрывала бездну. И был вечер, и было утро: день второй... К утру первого дня мы с Фридрихом успели закончить – замести следы.

Те, кто придет за нами, ничего не заметят. Какое им дело до чьей-то стертой памяти... Наш грех – наш ответ.

Зеленый шелк, оставшийся в моей памяти, отливает трупной зеленью. Я встаю и задерживаю занавеску. Пальцы сгибаются медленно, как во сне.

Не убий, не укради... Это – *их* вопросы. Тех, кто придет за нами. Им, как говорится, и карты в руки: вольному – воля, спасенному – рай.

Убил?.. Зачем?

Моя дочь возвращается поздно. Вечером – работа (секретарь в адвокатской конторе), днем – университет. Ее специализация – уголовное право. Скоро *выйдет на диплом*.

После школы поступила не сразу. В те годы мы бедствовали. Я пробавлялась дешевыми уроками. Те, кто могли платить, не нанимали репетиторов. Их дети поступали на платное. Тогда это было просто.

Мой бывший муж мечтал увидеть ее историком, подсовывал *свои* книжки. Этому я противилась: думала, если станет историком, перейдет на его сторону. Боялась ее потерять. Но и не филологом. В новой жизни надо устраиваться по-новому. В нашей семье юристов не было. В этом смысле юриспруденция – компромисс.

«Выучится. Сделает нормальную карьеру». Мне нравится ее будущая специальность: адвокат по уголовным делам. Во всяком случае, без работы не останется.

«Какую нормальную? – Я помню, как он разозлился. – Или что, надеешься... на это? – По ящику демонстрировали очередной подвиг – наш президент пилотирует сверхзвуковой самолет. – Так вот, не надейся. Тут юридического – мало. А на историю я бы помог. Пристроил бы на *бюджетное*».

Бесплатное образование – сильный довод. В этом году мне исполнится сорок семь. В Европе это считается хорошим возрастом. Дети выросли, можно пожить для себя...

Дочь жалеет меня: «Ничего. Всего год. А потом ты бросишь свои уроки. Пошлешь их к чертовой матери. Во всяком случае, перестанешь ездить».

У меня хорошая дочь. Нас связывают теплые отношения. Никаких современных драм, трагической изоляции, взаимного мучительства или застарелых фобий. Нам некогда и незачем мучить друг друга. Рано или поздно она станет преуспевающим юристом. За это я плачу деньги. Мать юриста не должна бояться старости.

Будь я ее клиентом, она посоветовала бы мне оформить трудовую книжку. Мало ли как сложится... Теперь это снова важно. Нельзя относиться легкомысленно. Этой темой я не *заморачиваюсь*: последняя запись сделана пятнадцать лет назад.

У нас с государством – свои счета. Друг другу мы ничем не обязаны: ни я – ему, ни оно – мне. В свой срок оно назначит мне нищенскую пенсию, но работать я буду до смерти. Во всяком случае, я к этому готова.

Суффиксы и приставки, морфология и орфография, чередование гласных и согласных, однородные члены предложения. Если надо, могу и про небо над Аустерлицем, и про вечно терпеливого мужика. Образ русской женщины: горящие избы и кони... Ключи от счастья женского, от нашей вольной волюшки. В каких морях та рыбина гуляет – Бог забыл...

Мои нынешние уроки стоят дорого – я умею назначать *достойные* цены. Должна платить за ее университет. Университет – единственное, что я могу себе позволить.

– Конечно перестану, – мне не хочется ее расстраивать. – Пускай они ездят ко мне.

Дети богатых родителей не ездят по урокам. К ним репетиторы приезжают на дом: за это им *платят деньги*. Те, кто ездят сами, просто *платят*. Этот этап я уже миновала. Хочется верить, что навсегда.

– А с другой стороны, – я говорю, – так бы и сидела сиднем. А тут – все-таки выхожу.

Дочь принимает на свой счет: в моих словах ей слышится укор.

– Ну, хочешь, давай сходим в кино. Теперь – хорошие кинотеатры. Современные. Отличный стереозвук.

Все, что надо, я уже видела и слышала. В плохих кинотеатрах. Акира Куросава, Анджей Вайда, Жан Кокто.

– А наши? – она возмущается. – У нас *тоже* были хорошие режиссеры!

Я согласна: конечно, были. Их фильмы шли широким экраном.

– А эти?

– Эти – в *Кинематографе*. Ты не представляешь! Списки, километровые очереди... Давка у кассы – лишь бы достать абонемент.

– Километровые? – она смотрит недоверчиво. – Ужас!

Я не знаю, что ей сказать.

Макбет, Земляничная поляна, Завещание Орфея.

В *Орфее* – я помню самое начало: из ладони прорастает цветок. Нет, не так... Шуршанье, рябая пленка. Мы сидели затаив дыхание. На наших глазах его ладонь раскрывалась на весь экран. Из нее пророс цветок, белый, похожий на лилию. Этот цветок *выбивался* наружу: из сосудов, из самой горячей крови – этой кровью наливались и наши лепестки...

Та кровь не спекалась сгустками. Не густела. Не предавала. Не лгала. Не жаждала утешения...

– Нет, – я повторяю упрямо. – Нам нравились европейские фильмы.

– Ну, Куросава, положим, не европеец...

Мы с дочерью сидим на кухне. Это – наш ритуал. Вечерняя кофейная церемония. Сегодня кофе кажется мне горьким.

– Да, – я соглашаюсь. – Формально не европеец. Но дело не в этом. Они принадлежали всему миру. Мировому кинематографу...

Дочь перебивает, не дослушав:

– Вы ходили с тетей Яной?

Я киваю машинально, не успевая вдуматься в вопрос.

– Вот видишь! – голос дочери торжествует. Она похожа на следователя, который дождался признательных показаний. – Ну сколько можно... Вы же *так* дружили! А – теперь? – ее голос становится укоризненным. – Это – кому сказать... Сколько вы с ней не виделись? Пятнадцать лет?!

В ее возрасте этот срок кажется вечностью.

– Ты могла бы ее пригласить. Сделать шаг навстречу.

Мы стояли в вестибюле, сбившись стайкой. Учительница скомандовала: *разобраться парами*. Я не ходила в детский сад и не поняла команды. Девочка, стоявшая рядом, поняла. Эту девочку я заметила сразу: белый передник с крылышками. Про себя я назвала ее *девочкой с крылышками*. Мне родители купили передник на лямках. Она взяла меня за руку. Ладонь вспотела от счастья. Я испугалась, что она выдернет руку...

Я бросаю косой взгляд: раньше она никогда не заговаривала. Этой темы между нами не было.

– Ты виделась с Витей?

Витя – Янин сын. С моей дочерью они почти ровесники. Родились с разницей в полтора месяца. Беременные мы с Яной ходили вместе. Друг на друга смотрели, как в зеркало. Моя подруга мечтала о дочери, я – о сыне. Наши мечты не сбылись.

– А что? – она поджимает губы. Похоже, я попала в точку. – В конце концов, можно считать, мы выросли вместе.

– Не выросли, – я вношу ясность, – а какое-то время жили. Всего-то – три года.

– А до этого? До этого мы тоже дружили. Пока наши матери не поссорились. Подозреваю, что из-за какой-нибудь ерунды! Я уверена, тетя Яна *тоже* скучает.

Это слово я пропускаю мимо ушей.
– Тете Яне скучать некогда. Она шьет.

Сперва простенькое: юбку, черный передник. В старших классах отважилась на платье. Ее мать работала на швейной фабрике. Ситец, сатин, пестрая штапельная шотландка. Работницы выносили обрезки. Начальство смотрело сквозь пальцы. Обрезки – негласный пункт договора: дочери работниц имеют право шить из лоскутков.

Яна поправляла: не лоскутки, а *лоскут*.

При раскрое приходилось *выгадывать*. На первых порах выгадывалось кривовато. То юбка с разными складками, то лиф из кусков. Девчонки дразнили *синьорой капустой*. Потом-то она шила исключительно из импортных: хлопок, шерсть, натуральный шелк. Джинсы, выстроченные ее руками, можно было смело сдавать на экспертизу: никто, включая законных владельцев, не заподозрил бы подлога. Заводила знакомства в магазинах. Продавщицы звонили, предупреждали о новых поступлениях. За это она им приплачивала. Наверное, считали частной портнихой. Тут они ошибались: *на сторону* моя подруга не шила никогда.

– А я, например, скучаю. Знаешь, сегодня вдруг вспомнила. Помнишь, как тетя Яна рассказывала? Про муравьев.

Еще бы не помнить... Гордость школы, победительница городских олимпиад. Любимый предмет – биология.

«Муравьи – социальные насекомые. Муравейник – не просто место обитания, а хорошо отлаженный организм. Их жизнью управляет коллективный разум. Раньше муравьиное сообщество терзали неразрешимые противоречия. Теперь, в результате долгой и сложной эволюции, воцарился прочный мир. Роли расписаны от рождения: царица, рабочие, солдаты. В случае внешней угрозы каждая особь знает свой участок ответственности. – На доске нарисован муравейник в разрезе. Яна ведет указкой. – Идеальная гармония достигается за счет подавления индивидуальных интересов».

«Во-во, – Петька выкрикивает с места. – Вроде как у нас. Этот, как его, коллективный разум...» – «Допрыгаешься у меня, Сергущенко! – биологичка взвилась. – Я тебе покажу – коллективный! Мигом пойдешь к директору!»

«Ну не разум, а ум. Честь и совесть нашей эпохи», – он бурчит потихонечку. За такие шуточки по головке не погладят: с четверкой по поведению не светит никакой институт.

– Кстати, почему бы ей самой не позвонить?

Дочь радуется: ей кажется, мать готова сделать шаг.

– Да сколько раз хотела! Витька говорит, сто раз бы уж позвонила. Боится.

«Говорит. Значит, определенно виделись», – я чувствую себя солдатом своего муравейника.

– Боится? Меня? Вот это – правильно.

Дочь разочарована. Надеялась *решить вопрос*. Я встаю из-за стола. Кофейная церемония закончилась. Я не обязана давать объяснений. У детей своя память. Моя дочь не помнит главного. Зато помнит про муравьев.

Я ухожу к себе. Ложусь на диван. Утыкаюсь в стену. Мои стены оклеены цветочными обоями. Когда-то давно я их выбрала: мне казалось, они похожи на *тот* цветок. Тогда я боялась его забыть.

*Мелодия та-та-та-та цветком, он распускается и осыпается,
он делается... та-та... и песком, летящим на огонь... та-та-та...
мотыльком...*

Я веду указательным пальцем. Мой палец скользит по опавшим лепесткам. Так, словно они еще могут сложиться в мелодию. Как будто я – певчий дрозд. Из того *неевропейского* фильма, который не шел широким экраном. Его показывали в *Кинематографе*.

Засыпая, главный герой слышал тихую музыку: та-та, та-та-та-та... Надеялся, что проснется и все запишет. Его ноты станут певчими птицами – рассядутся по нотным линейкам, как по телеграфным проводам...

За собой я не знала талантов. Но почему-то надеялась. Мне казалось, еще немного, и этот цветок пробьется – прорастет из моей руки...

*На стене прозвенела гитара, расцвели на обоях цветы. Одиночество
Божьего дара, как прекрасно и горестно ты...*

Теперь-то я знаю: у меня не было своего голоса.

Как я завидовала им – избранникам мироздания, носителям Божьего дара.

Мои родители называли это призванием.

В кухне журчит вода. Дочь моет посуду. Дзенькает кофейными чашками. Судя по звуку, смывает раздражение. С ее точки зрения, мое упорство – необъяснимое упрямство. Догадываюсь, о чем она думает: «Мусик, ты ужасно *упертая*. Жизнь – разумный компромисс».

В отношениях с ней я всегда готова к компромиссам. Вот и сейчас встаю и возвращаюсь на кухню. Тщательно вытираю стол. Моя дочь легка на обиду: при случае может и вспылить. Я избегаю семейных сцен. Мне тяжело дышать их пылью. Эти запасы я исчерпала на ее отце.

– И все-таки: ты *видишься* с Витей? – любой компромисс имеет свои пределы.

– Нет, – на этот раз она отвечает миролюбиво. Раздражение кануло в чашки. – Не вижу, а увиделась. Сегодня. Совершенно случайно.

Совершенно случайно. Похоже, сегодня – особый день. День неожиданных встреч.

– На улице?

Она удивляется:

– Почему на улице? Просто зашел в контору. Красавец, – она заводит глаза мечтательно. – Одет как принц Уэльский. Лучшие бренды. Обрадовался. Я, между прочим, тоже, – в ее тоне дзенькает вызов. – Посидели. Выпили кофе.

Глаза молодых похожи на сканеры: *бренды* они различают с одного взгляда.

– Где, в офисе?

– Почему? – ее удивляет моя непонятливость. – Вышли. Посидели в кафе.

Обеды – отдельная статья расходов. Все ходят в кафе. Надо держать марку. В их офисе не принято брать с собой.

– А как ты его узнала?

– Фамилия, в документах.

– И что? Что-нибудь рассказывал?

– Ну, – дочь пожимает плечами. – Нормально. Свой бизнес.

– Торговля? – мне трудно сдержать усмешку.

– Господи... Да какая разница!

– Большая, – я выжимаю тряпку, тщательно развешиваю над краном. Если не развесить, моментально пропахнет гнилью. – А как же институт?

– С тобой, – она поджимает губы, – невозможно разговаривать. Закончил. Институт холодильных установок.

Я говорю:

– Такого нету.

– Ну, значит, другой.

Другой так другой. Муравей-солдат может расслабиться. Похоже, он просто ошибся, преувеличил внешнюю угрозу.

– Ты помнишь Елену Глебовну?

– Елену Глебовну? – на этот раз ее черед удивляться.

О той жизни я почти не рассказывала. Во всяком случае, никаких подробностей. Сначала она была маленькая, потом я старалась забыть, выкинуть из памяти.

– Мы вместе работали у Фридриха. – О Фридрихе я упоминала мельком. – Кажется, он убил человека.

Я отворачиваюсь к раковине.

– Убил?! – она удивлена. – Зачем?

– Это что – вопрос целесообразности?

За моей спиной она ворчит недовольно:

– Ну что я такого сказала? У тебя ужасная манера – привязываться к словам.

– Или его убили.

– Как это? Одно из двух: убил или убили. Что, не могут опознать труп?

– Трупа нет, – я отвечаю виновато. – Во всяком случае, пока не нашли.

– На нет и суда нет, – она разводит руками. – Пусть сначала найдут.

Меня коробит ее тон. Как в детективном сериале: главное – найти труп.

– Елена Глебовна прочла в газете: вроде бы он в бегах.

– Ну-у, – она тянет. – Смотря какая газета... Но *по-любому* нужен классный адвокат. Может, все-таки позвонишь?

– Кому? – у меня замирает сердце.

– Тете Яне. – Тема Фридриха для нее исчерпана. Во всяком случае, пока не найдут труп. – Не обижайся, – она устраивается поудобнее, – но ты, как всегда, усложняешь. Так бывает: люди по каким-то причинам расходятся. А потом проходит время...

– Нет, – я качаю головой. – Время никуда не *проходит*. Оно *идет*. Эти глаголы – не синонимы.

Дочь морщится:

– Брось... Я не твоя ученица. Ладно, пойду пороюсь...

Компьютер включается с тихим воем. Вентилятор, вправленный в корпус, охлаждает железные внутренности. Умная техника бережет себя от перегрева. Единственный способ остаться в живых.

В сущности, дети хотят как лучше. Их матери, как им кажется, в ссоре. Дело детей – помирить. Их матери дружили с самого детства, сидели за одной партой. В конце концов, у них похожие имена: Тать-я-на и Ульяна. Три слога. Два из которых одинаковые. Но первые все-таки разные. Может быть, поэтому одна из них выбрала приставки и суффиксы, другая – муравьев. Детям кажется, что два должны перевешивать. Наверное, они правы. Если копнуть, то и перевешивать, в общем, нечего. *Все взвешено и найдено легким*.

Дети верят в чудодейственную силу времени: убийцы, идущего по пятам.

«Меня зовут Яна». Однажды даже исправила в классном журнале: закрасила первый слог. Директриса закатила скандал: журнал – официальный документ. Это вам не какой-нибудь альбомчик.

Наши родители были советскими людьми. Разница в том, что мои любили Евгения Онегина. А ее мать восхищалась подвигом молодогвардейцев. Особенно Ульяной Громовой. Назвала дочь в ее честь. Похоже, этой чести моя подруга стыдилась. А может быть, ее смущало простонародное звучание.

Самое интересное, что на следующий год они все-таки исправили. С тех пор так и пошло: Татьяна и Яна.

Когда меня окликали полным именем, ее имя отзывалось эхом.

Интересно, что бы сказала моя дочь, если бы ей сообщили, что мать – соучастница убийства? Тоже спросила бы: зачем?

Адвокат должен верить в невиновность подзащитного. В то же время дочь обязана верить матери. Как же ей строить стратегию защиты, если мать утверждает, что виновна?

Вопрос, на который у меня нет ответа. Пусть решает суд.

«Граждане судьи! (Мысленно я люблю дочь. Ей к лицу будущая роль.) В сложившихся обстоятельствах помощь – не соучастие. У моей подзащитной не было выбора. Она зависела от убийцы. Точнее, на него работала. Ее должность – помощник генерального директора. Факт не отражен в трудовой книжке, однако есть свидетели. Защита ходатайствует о приобщении их списка к материалам уголовного дела. Кроме того, не надо забывать о контракте. По условиям контракта она должна была поступить *именно так*».

Я подхожу к зеркалу. Женщина средних лет улыбается мне через силу. Свидетели защиты помнят ее молодой.

– Фридрих Великий, Фридрих Энгельс... Фридрих Барбаросса... ага, еще Гогенцоллерн... Фридрих Ницше... Представляешь! – она кричит из своей комнаты. – В переводе с древнегерманского это значит *могущественный*. Все Фридрихи целеустремленны и находчивы. Обладают прекрасными организаторскими способностями. С подчиненными корректны, но требовательны... В быту привередливы и брезгливы, – она возвращается на кухню. – Ну как, сходится? Кстати, в сексе весьма переборчивы...

– Почему – кстати? При чем здесь *кстати*?

– Кстати? Разве я сказала – кстати? Я хотела сказать – дохлый номер. В Рунете этих Фридрихов – как грязи. Или, – она хихикает, – как донов Педров. И не сосчитать! Я оставила. Хочешь, сама поройся.

– Вводные слова надо употреблять к месту, а не абы как...

– Не хочешь – как хочешь, – она пожимает плечами.

Фридрих – не имя и не фамилия. На самом деле его звали Евгений Фридрихович. Я раскладываю диван. Механизм, как всегда, заедает: надо отжать и дернуть. Одеяло волочится по полу. Скорее всего, из обрусевших немцев. Раньше я не задумывалась об этом: судя по русской фамилии, мать растила его одна. Иначе бы их выслали. Всю семью, в начале войны.

Свободный фасон

Чтобы уснуть, надо сосчитать до тысячи. Я считаю с закрытыми глазами. Мои глаза различают только цифры. Черда цифр движется беззвучно...

В этом смысле их судьбы похожи. Моя Яна тоже росла без отца.

Ее мать, жалевшая молодогвардейцев, какое-то время подрабатывала уборщицей. Об этом я узнала случайно. В их доме был общественный туалет. В подвале, рядом с парадной. Однажды мне ужасно *пристичило*. Ее мать мыла ведро под краном. Боялась обрызгать ноги. Черный кран торчал из стены. Вода лилась на пол, уходила в сливное отверстие. Я обмерла, попятилась...

У меня была *другая* семья. Родители преподавали в Полиграфическом техникуме. На работу шли как на праздник. По вечерам смотрели программу «Время» – отец говорил: надо быть *в курсе*. Никогда не пили кофе – исключительно чай. В маленьком чайнике заварка прозябала неделями: для них это не имело значения. Главное – иметь цель.

Отец говорил: «Цель должна быть высокой. Интеллигентный человек должен ставить такие цели, к которым нужно идти всю жизнь».

Идти – глагол несовершенного вида. Несовершенный вид – залог счастливой жизни.

Я уверена, мои родители были счастливы. Пролетарии умственного труда.

Сколько себя помню, отец писал диссертацию. По воскресеньям отправлялся в Публичную библиотеку. Читал материалы *по Пушкину*. Делал выписки. Для выписок нарезались карточки – в нашем доме картонные коробки не выбрасывали.

Возвращаясь домой, раскладывал по папкам. Это называлось: собирать картотеку. Свои папки он никому не показывал, даже маме. Она не настаивала. Говорила: интеллигентный человек имеет право на личную жизнь.

Тема выпускного сочинения: «А.С. Пушкин как личная жизнь советского человека».

После его смерти мама открыла: одни сплошные цитаты. Боялся доверять собственным мыслям? Считал их недостаточно зрелыми? Однажды я поинтересовалась: «И когда защита?» Испугался, словно его застали врасплох. Поник, принялся объяснять: защита – это очень ответственно. На защиту нельзя выходить раньше времени, пока остаются сомнения, и вообще – он блеснул глазами, – главное не результат. «Пойми, я – исследователь. Исследователь вводит в научный оборот новые сведения: *кирпичики*, из которых складывается великое знание о литературе».

Сами по себе его выписки казались интересными. Я перебирала карточки, но так и не поняла принципа, по которому он их сортировал. Во всяком случае, не по темам. Тема дуэли встречалась в каждой папке. Декабристская тоже. Одна цитата мне особенно запомнилась:

В безумстве гибельной свободы.

Судя по звучанию, из Пушкина. Так и не смогла вспомнить. Зачем он ее выписал? Неужели размышлял о безумствах, о гибели, о свободе?.. Конечно, я могла спросить у мамы. Моя мама помнила множество цитат. Любила приводить к месту и не к месту. Но потом подумала: не стоит. Ну, узнаю. И что это изменит?..

В отдельную папку собирались выписки о масонах. Я читала и размышляла о том, что пушкиноведение, ставшее личной жизнью, похоже на масонскую ложу. Дело не в диссертации. Литература моих родителей – Великая Китайская стена. Десятки безымянных строителей. Этой стеной, возводимой по кирпичику, они огораживались от жизни. Для себя они выбрали *такое* спасение. На все доставшиеся на их долю времена.

Вершина мироздания – *Евгений Онегин*. Когда я родилась, вопрос встал ребром: Ольга или Татьяна?

Об этом мама рассказывала так, словно и та и другая были моими бабушками. Что, в сущности, недалеко от правды. Мои родители выросли в детдоме.

Я открываю глаза. Черета цифр давно оборвалась. Мои глаза смотрят на портреты.

Сколько себя помню, они висели в родительской комнате. В раннем детстве я думала: мои умершие дедушки. Отцы моих родителей. Потом поняла: не отцы, а боги. Собрания их сочинений стояли на отдельных полках. Как в *красном углу*.

В своей семье я была еретичкой – молилась другим богам.

Сперва – Фейхтвангер и Стефан Цвейг. *Безобразная герцогиня Маргарита Маульташ. Двадцать четыре часа из жизни женщины...* Эти книги я взяла в библиотеке. Читала украдкой от родителей. Ночью, с фонариком, под одеялом. Мои родители ни о чем не догадывались. Потом, в студенческие годы, Герман Гессе и Томас Манн.

Когда дочь осваивала компьютер, я придумала ей адрес: madame.shosha@mail.ru.

Имя этой женщины я носила втайне. Давно, в юности. Ее имя. Ее наряды. Они висели в моем шкафу.

Сколько раз представляла себе: вот я вхожу в зал, демонстративно хлопнув дверью, поворачиваюсь, показывая себя, поднимаю руку к затылку.

Свободный кружевной *матин*. Это слово кружило голову. Я пыталась представить, как же оно сшито, вообразить *свободный* фасон.

А еще я любила блузку с полупрозрачными рукавами. В ней очертания моей руки проступали особенно воздушно. Он, герой европейского романа, смотрел на меня, бледнея от восхищения. Засыпая, я слышала его шепот: «Господи боже мой! Ведь жизнь прекрасна! Потому что женщины одеваются соблазнительно...»

Для моих родителей Пушкин не был богом. С ним можно было поговорить, посоветоваться, выбрать имя для новорожденной дочери. Потому что он прислушивался к миру. Боги создают свои миры. Боги русской литературы не грешили против правды: их героини носили изысканные европейские платья. Но они, создавшие русский мир по своему образу и подобию, стояли на страже.

Черное, низко срезанное, обшитое венецианским гипюром, открывавшее грудь и полные плечи. Герои русского романа не умеют любоваться. В душе Вронского красота Анны рождала покорность и страх. Его соблазн был грехом, который вершится без покаяния и прощения. Внешняя красота обманчива. Рано или поздно обман обязательно раскроется, и тогда бальное платье станет *вокзальным*: в котором ты пойдешь по платформе, прежде чем сделать шаг...

Тем, кто еще надеялся, боги моих родителей давали строгое объяснение: дело не в цвете. Пусть оно будет хоть белым, подвенечным. Лишь бы его доставили вовремя, чтобы героиня еще успела выйти на крыльцо, перед которым соберутся третьестепенные персонажи. «Пусть кричат, пусть свистят, если осмелятся!»

Боги русской литературы обо всем позаботились: *этакая красота* – судьба. Рано или поздно все запахнет *ждановской жидкостью*...

Свободные деньги еретичка тратила *на тряпки*. Покупала у спекулянтов. Французское платье, итальянская блузка – меня завораживали эти слова.

Яна приходила, выворачивала на изнанку, придирчиво изучала этикетки. «Французское? – переспрашивая недоверчиво, качала головой. – А ну-ка, пройдишь».

Я шла, смиряя волнение. Каждая обновка – шаг к моей высокой цели. Тогда я еще надеялась – рано или поздно я сумею стать похожей на женщину, сидящую за *хорошим* русским столом.

«Ничего. Симпатично...» – У Яны был наметанный глаз. Ее глаза ловили малейшую погрешность. Платья, сшитые ее руками, сидели как влитые.

Боги моих родителей хранили молчание.

При них я стеснялась переодеваться.

Есть только ми-иг между прошлым и будущим!

Именно о-он называется жизнь!..

Я прислушиваюсь: у соседей снова гулянка. Счастье, что поставила вторую дверь...

– Татьяна, открой!

Звонок верещит настырно. Встаю. Натягиваю халат.

– Сигаретки нету? Скурили мои паразиты...

– Ма-ам, ну кто там?!

Соседка встает на цыпочки:

– Это я, Шурок.

Александра стонет:

– Господи! Ну какой Шурок... Мне дадут поспать?..

– Ухожу, ухожу! – соседка выводит нараспев.

Я протягиваю пачку, не сводя глаз. Обычно она ходит в застиранном халате. Из-под халата торчит ночная рубашка. Сегодня явилась в платье: в пол, осыпанное серебристыми блестками. Она ловит мой взгляд.

– Во, видала? Вчера, *на помойке*, – соседка обдергивается смущенно. – Иду, а они как раз разложились. Думаю, надо порыться. Мало ли, вдруг чего нарою. *Эти черные* совсем оборзели – прикинь, всё по сто. Там выбросили, – она тычет пальцем в стену, словно за моей стеной – граница. – А это, говорю, с люрексом? А она: сто рублей. Щас! У меня всего-то полтинник. А тут – этот, хозяин. Ну, она с ним: бу-бу-бу по-ихнему. А я сжамкала и – раз! – под куртку. А чего, небось не обеднеют. Говна навезли и толкают по стошке. Ну как? Зацени!

– Красиво, – я восхищаюсь искренне. Потому что помню это европейское платье. Давно, когда на нем еще не было *затяжек*, его надевала Пат. В этом платье из серебристой парчи она явилась к Роберту. Теперь его донашивает моя соседка-алкоголичка.

– Ты чего, одна, что ли? – соседская шея тянется в сторону кухни. – Праздник, а она одна... А хочешь, давай к нам. Или ну их! Сами с усами. Хлопнем по рюмашке. Посидим, как шерочка с машерочкой...

Я стою на пороге, сдерживая напор. Просочится – не выгонишь.

– Ну и черт с тобой! Мне-то чего... Слава богу, есть с кем выпить...

Я запираюсь на оба замка. У *этих* что ни день – праздник. Какое мне дело до их праздников? Сна ни в одном глазу. Я бреду на кухню, распахиваю холодильник. Сыр, колбаса, суп в кастрюльке. Стайка разноцветных йогуртов. На дверце початая бутылка. Мне очень хочется выпить. Шепотом: «Один глоток».

Водка обжигает внутренности. Я заворачиваю пробку, торопливо ставлю на место. Не хватает, чтобы дочь меня *застала* – достойное зрелище: мать, пьющая *из горла*. Мне хочется взглянуть им в глаза – этим русским жестоковыйным пророкам, которым поклонялись мои родители. Пусть они ответят: и чего они этим добились? *Правильные* женщины не должны наряжаться! Их судьба – латаное-перелатаное. Долли Облонская, гордившаяся заштопан-ными трусами. Автор выразился деликатнее: штопаным бельем. Наташа Ростова, растол-стевшая и неряшливая, но *этим* милая Пьеру...

Черт! Идиотская табуретка! Я тру ушибленное колено, тру и тру, пританцовывая. Танцую и тру. Решительно достаю бутылку, наливаю полную рюмку. Водка доходит до края, замирает округлой выпуклостью. Неловкое движение, и все расплещется...

От *этих* хоть можно запереться. В таких случаях Александра говорит: «А представь, жили бы в коммуналке». Я-то представляю. Хотя почти не помню: когда переехали, мне было три года. Наш дом пошел на слом. На его месте построили школу.

О той жизни у меня остались смутные воспоминания: общая кухня, старик в рваной майке. Толстая тетка – ее лица я не помню. Только синий фланелевый халат. А еще я помню флаконы. Они стояли на туалетном столике в комнате другой соседки, с которой мы жили дверь в дверь. Мама говорила: Зоя Петровна – *кандидат наук*. От этих слов исходил волшебный запах. Работала в институте Турнера. Лечила *спастиков*. Это слово я тоже запомнила. Их привозили из разных городов. Родители дарили подарки: конфеты в больших коробках, самые дорогие духи...

«Французские?» – через много лет я спросила. «Не знаю», – мама поджала губы, выражая свою точку зрения: ни врач, ни учитель не имеют права *брать*. Они-то точно не брали. В нашей семье ничего такого не было: ни духов, ни конфет.

Я наливаю вторую рюмку. Водка – хорошее лекарство. Колено почти не болит.

Институт я закончила с красным дипломом. Мечтала преподавать литературу, но свободная ставка нашлась на кафедре русского. Потом поступила в заочную аспирантуру. Моя защита прошла легко. К тому времени родители умерли. Муж – аспирант-очник. Писал диссертацию. У них это называлось *десертом*. До десерта мы так и не дожили. Обходились моими обедами: первое и второе. Своей работе муж отдавался истово. Его научный руководитель гордился своим либерализмом: с одной стороны, декабристы – конъюнктурная тема. Но, с другой, учитывая политические аллюзии... Незадолго до защиты остался в Германии – воспользовался международным симпозиумом. Новый руководитель оказался старым идиотом. Пентюхом из *красной профессуры*.

В Публичке муж прочел его автореферат: «Все в лучших традициях: не работа, а Краткий курс истории ВКП(б)». Потребовал начать заново: «Голубчик, ну к чему эта самостоятельность? Мой вам совет: не надо педалировать политические аспекты. Тем более что все абсолютно ясно: узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа...» – цитаты из Ленина он произносил со вкусом.

Смену курса мой муж переживал трагически. Готовые наработки – в стол. Черновики – на антресоли: легли мертвым грузом. Тогда-то они и пригодились – тайные папки моего отца. Раньше он их вяло полистывал. Полагал, что цитаты, подобранные тестем, искажают реальную картину. Грешат романтизмом. В качестве иллюстрации своей мысли приводил нашумевший фильм. *Звезда пленительного счастья*. Незадолго до этого он прошел широким экраном.

«Вам-то хорошо, – новые выписки он делал, чертыхаясь. – Устроились: суффиксы, префиксы... Никакой идеологии. А тут ползи, как по минному полю!»

Моя диссертация касалась вопросов словообразования.

В то время я ждала Александру. Смотрела в зеркало, ужасаясь. После родов надо за себя взяться. Сесть на строгую диету. Сбросить килограмм десять как минимум.

По вечерам муж меня *выгуливал*. В новостройках воздух чище, но мы ездили в центр. Это называлось поехать в город. Когда замерзали, шли в Эрмитаж. Муж тащил меня вниз, к своим любимым статуям. Дипломную работу он писал по Древней Греции.

«Знаешь, теперь я наконец понял: у тебя архаическая улыбка. Как у куросов и кор. Нам кажется, будто они улыбаются, а на самом деле – ничего подобного. Легкое мышечное напряжение, которому не соответствует выражение глаз». – «Почему?» Мой вопрос он понял

по-своему: «Потому что древние скульпторы не могли добиться объемности. Не ладили с пространством». – «А со временем?» – этот вопрос я задала машинально, ничего не имея в виду. Он пожал плечами.

Мраморные мужчины и женщины отличались завидной стройностью.

«А почему их так называют? Никакого равноправия». – «Равноправия? Какого равноправия?» – «Ну, – я пыталась объяснить. – Одно из двух: либо кора и корос, либо кура и курос. Курос куре строит куры», – с моей стороны это была всего лишь шутка, игра слов.

Мы входили в зал мелкой пластики. «Ничего я на них не похожа». – «Сейчас, во всяком случае, нет, – видимо, ему тоже захотелось пошутить. Поэтому он и подвел меня к витрине. – Скорее, на нее».

За стеклом стояла терракотовая статуэтка. Старуха, толстая и уродливая, с огромным животом. Она протягивала руку, как будто просила милостыню. От неожиданности я заплакала. Муж испугался, засуетился. Потом-то я, конечно, успокоилась и даже выслушала его *научное* объяснение: статуэтки беременных старух – гротеск. Позже, в классическую эпоху, он был вытеснен за пределы большого искусства. Большое искусство отражает свое время. Время, до которого мы наконец добрались.

«Не понимаю, чего ты уперся в этих несчастных декабристов? Взял бы свою любимую Грецию: ни тебе Ленина, ни генеральных секретарей». – Мы стояли в очереди в гардероб. С моей стороны это был запрещенный прием. Цитаты *основоположников* нужны и для Древней Греции. Он расстроился не на шутку: «Научная работа требует системности. Чтобы заниматься Грецией, надо знать язык. Если бы я знал древнегреческий...» – объяснял серьезно и горячо.

Я поняла: втайне он стыдится своей сговорчивости. За прежнюю диссертацию можно было и побороться. Пусть бы выщипывали где пушок, где перышко. Хоть в чем-то, да настоять на своем...

Выходя из зала, я оглянулась: старуха, не имеющая отношения к своему времени, смотрела в другую сторону...

Милостыни я никогда не просила. Зарабатывала частными уроками. Ученики поступали, рекомендовали меня следующим. К октябрю я заканчивала набор.

Яна уроков не давала. Ее муж закончил Химико-технологический. На пятом курсе перевелся на вечернее – по семейным обстоятельствам. На самом деле, чтобы избежать распределения. Сперва мыкался, пока не нашел *достойную* работу: устроился кузовщиком. Обслуживал владельцев «жигулей».

На «жигулях» ездили богатенькие. Семья могла позволить себе многое. Яна *ничего* не позволяла.

Ей нравилось *иметь* деньги. Тратить планировала потом. Это чужие деньги не пахнут. Для нее они пахли общественной уборной: каждый потраченный рубль. Каждый отложенный отодвигал конец перспективы. В восьмидесятых он маячил далеко за горизонтом.

Думаю, ее мужа это злило. Будь его воля, предпочел бы жить на широкую ногу – рестораны, курорты, драгоценности, – иначе зачем было идти *в службу*? Себе он *позволял*.

Мы сидели в комнате, он – в прихожей, разговаривал по телефону. «Нет, – Сергей говорил громко, – так и не явился... Конечно... Накрыли столик – рублей на сто... Ну – что? Посидели, не пропадать же добру...»

Сто рублей – аспирантская стипендия. Яна поймала мой взгляд. «Нужный человек. С завода. Достает запчасти». К *неинтеллигентным* делам мужа она относилась с легким презрением. В середине восьмидесятых Сергей уехал в Америку. Считалось, что на разведку. Первое время отправлял посылки для сына. Года через два разведка закончилась. Одновременно иссякла и иностранная помощь. Обсудив, мы сделали вывод: женился.

Я гашу верхний свет. Завтра мне рано вставать: надо потушить мясо, убрать у себя в комнате. «Убрать можно и послезавтра». Хорошие хозяйки планируют все заранее. Видимо, я не очень хорошая хозяйка. В этом деле мне не хватает системности.

У меня кружится голова. Ложусь, закрываю глаза.

Системность – его любимое слово. Послушать моего мужа, все должно быть системным: и научная работа, и политические убеждения. Всю жизнь читал запрещенные книги: *самиздат*, *тамиздат*. Эти книги хранились в морозильнике. Конечно, я тоже почитывала, иногда давала Яне. К политике моя подруга относилась легкомысленно.

Как-то раз забежала во время Съезда. Телевизор работал без звука: транслировали отчетный доклад. «Еле дышит...» – я имела в виду докладчика. «Нам-то что?» – «Ну, не знаю... Жалко. Все-таки человек». – «Это...» – она вертелась перед зеркалом, любуясь юбкой, сшитой накануне. – Это – из жизни соек. Как там у них? *Усиление идеологической борьбы?* За-ме-ча-тель-но. Лишь бы не срали на голову. А так... – Обновка сидела как влитая. – Пусть себе верещат».

Впрочем, временами на нее *накатывало*: вспышки классовой ненависти.

Я подбиваю горячую подушку.

Взять хоть тот случай. Мы сидели на кухне.

«Татьяна, ты дома? Открой!» – Звонок заливался настырно.

«Соседка, – я скроила кислую мину. – Явилась за сигаретами. Придется открывать».

Яна выразилась коротко и энергично: «Да пошла она!..» – «Не-ет, – я помню, что ей ответила: – Надо соблюдать и поддерживать. Ко мне приходят ученики».

Новый закон о предпринимательской деятельности грозил административно-финансовыми карами.

«Тогда – святое, – она хмыкнула. – Донос – булыжник пролетариата».

«Сигаретки нету? Скурили мои паразиты...» – Из-под застиранного халата вылезали рваные кружавчики. Соседская шея тянулась в сторону кухни. – А ты чего? Вдвоем или как?...» – «Вдвоем, – я сдерживала напор. – С подругой». – «С подругой... Шерочка с машерочкой?...» – «Яна! – Просочится, не выгонишь. – Вынеси сигарету». – «Вот. Одна. Последняя...» – Моя подруга вышла в прихожую, протянула пачку. «Последнюю не возьму, – соседка отказалась решительно. – Последнюю – не по-людски. Ладно, попробую к Тоньке».

Заперев дверь, шерочка вернулась к машерочке.

«Слушай, вроде же было... Почти целая». – «И было, и есть...» – доставая из кармана, Яна запихивала обратно. Пачка “ВТ” пухла на глазах. – А ты как думала? – щелкнув зажигалкой, затянулась с удовольствием. – Нечего прикармливать шваль. У всякого животного свои повадки. Эти, – кивок на дверь, – не берут последних. Последнюю жизнь – пожалуйста, а сигарету – ни-ни. Так что знай и люби родную природу».

По доносу коммунальных соседей ее деда расстреляли перед самой войной.

Скорее всего, моих тоже. Иначе с чего бы родителям оказаться в детдоме?.. Правда, мне они ничего *такого* не рассказывали. А может, не помнили. Или помнили, но предпочли забыть. Чтобы сеять разумное, доброе, вечное. С чистой душой, не отвлекаясь на частности.

Янина мать помнила, но все равно любила молодогвардейцев...

Засыпая, я думаю: у моих родителей была *другая* память. Литературная. Они помнили только цитаты. Уйму цитат...

Откуда нам было знать?

С Яной у нас были свои праздники. В тот раз мы обмывали мои новые сапоги.

«Красавцы...»

Ее рука потянулась к коробке. Коробка, нарядная, как невеста, стояла на кухонном столе. Изнутри выложена белой бумагой: черное на белом. Чужая европейская красота.

«Кошмар... Сто пятьдесят рублей... Считай, двойная переплата. А с другой стороны – райский запах! – Янина рука приподняла хрусткий угол. – Хоть занюхай...»

«Скажи еще: умеют, когда захотят...»

«Как думаешь, – Яна оглаживала черные голенища, – до финнов сразу дошло? Или сперва расстроились?» – «Ага, – я жевала колбасный обрезок. – Светлое коммунистическое будущее – и без них? А что, нормально. Ходили бы в *Скороходе*». – «На их месте до меня доперло бы сразу. Перекрестилась бы обеими руками».

Это у нее от матери – русские пословицы и поговорки. И к месту, и не к месту. В данном случае очень даже к месту.

«Во, гляди! – Я заглянула в эмалированную миску. – Пошел оливье-то. Целую бадейку умели».

«А как поживает твой заведующий кафедрой?»

«Представь, – после второй рюмки хотелось поплакаться в жилетку, – ничего не могу поделать. Как посмотрю: ну кролик и кролик».

«А раньше – нет?»

Животное царство – Янина специализация. Муравьи, амёбы, кролики. Мое сенсационное признание позволяло *блеснуть*.

«Ты бы слышала, *как* он говорит о своей жене!» – мой язык заплетался. «И – как?» – «А так», – третью рюмку я выпила залпом. О жене он говорил с болезненной нежностью.

На ее месте любой бы посочувствовал. Но моя подруга не такова.

«Это, – Яна вещала воодушевленно, – нормальный процесс. Выражаясь по-научному, *доместикация*. Кстати, имеет далеко идущие последствия. Да и вообще, – она подняла палец, – будь на чеку. После доместикации мозг животного теряет в весе». – «А человека?» – теперь заинтересовалась я. «В историческом смысле? – она свела брови. – Говорят, увеличивается. Но к нашим мужикам это хрен относится. Тебе хорошо... – отступая от сомнительных теорий, она перешла к насущному. – Русский язык – золотое дно. Эх, знать бы заранее... А это... – она возвратилась к основной теме: подруга и ее женатый любовник. – Вляпалась и терпишь. Между прочим, есть два выхода: терпеть или послать. – Судя по интонации, она предпочла бы второе. – Но ты же... – Яна развела руками. – Как это у вас называется? Любо-овь...» – «Чужого, но преданного мужа? Не смейся. – Ненавижу, когда она ерничает. – У нас это называется иначе». – «Так в чем же дело?»

Этого я не могла объяснить.

Все как-то *сложилось*.

«А может, вернуть Славику? Все-таки родной отец... Хотя тоже, – Яна тряхнула пустой бутылкой, – домашнее животное. Хоть квартиру оставил. И на том спасибо». – «Чего – спасибо? Квартира – моих родителей». – «Ну, – она пихнула бутылку под стол. – Он же прописан. Так что, считай, рыцарь. А то бывает. Подают на размен». – «Пусть только попробует».

Рыцарь печального образа. После развода вернулся к мамаше...

«Слушай, а давай съездим! Поглядим, а вдруг и правда приличные», – после водки мою подругу потянуло на подвиги.

На улицу выходить не хотелось. «Ладно, – я согласилась, – давай».

По институту бродили слухи, будоражили общественность. Какой-то преподаватель – правда не из наших – наладил пошив обуви, притом совершенно официально. Кооперативщики торговали на Некрасовском рынке.

Костюмы из *вареной джинсовки*. Платья, юбки... Детские игрушки из целлулоида.

«Этот?» Мы подошли к прилавку. «Я-то откуда знаю...»

Бородатый. Лет тридцати. Торговал зимними сапогами.

«Похож на художника».

Товар разбирали. Деньги он принимал робко, вертел в руках, будто каждый раз принимал принципиальное решение: брать или не брать. Виногато прятал от чужих глаз. Крупные – в сумочку, поближе к телу. Десятки совал в карман.

«Прикинь, сколько за день... – Яна сделала страшные глаза. Видимо, представила, как он будет считать их вечером: раскладывать на кучки. – До финских как до неба, – ошупав голенища, она вынесла вердикт. Мы отошли на приличное расстояние. – Муть для пролетариев. Кто понимает – не наденет». – «Ну, не знаю...» Я покосилась на ее стоптанные ботинки.

«Да уж... Прямо скажем, нашили! Слушай, а давай и мы, – кажется, она предлагала всерьез. – Я – шить, ты – продавать. Если пойдет, найдем девушек». – «Вот-вот, – я кивнула, – как у Чернышевского. Утром – мастерская, вечером – бордель».

«Конечно, не Европа... – Мы вышли в скверик напротив. Скамейки, затоптанные грязными сапогами: местная шпана приспособилась садиться верхом. – Но для начала прилично, – я застелила чистой газеткой, – не все сразу...» – «А давай откроем частную школу... Ты – директор, я – завуч». Вывод напрашивался: *мастерская Веры Павловны* – исчерпанная тема. «Мне, – я пожала плечами, – хватает. Да и вообще... Я и в ЖЭК-то с третьей попытки».

«Как ты думаешь, – образ сумочки, набитой деньгами, не шел у нее из головы, – а алименты? Неужели со всей суммы?!» – «Ну, если официально...» – я кивнула.

Новостями мои сослуживцы обменивались в курилке. Там же составились две партии: оптимистов и пессимистов.

«Генсек он и есть генсек!»

«Не скажи... Во всяком случае, умеет говорить без бумажки. Видал, как чешет!»

«Да бросьте... Все это временно, болтовня для отвода глаз. Вот если они опубликуют Галича...»

По вечерам я смотрела телевизор: «Взгляд», «Пятое колесо».

Перспектива свободы кружила голову.

«Ну?! Слыхала?! – телефонная трубка вопила голосом коллеги. – А я-то дура... Главное, именно сегодня. Черт, и как назло сторублевками. Представляешь, с трех учеников... Господи, да вруби ты ящик...»

Министр, упитанная сойка, верещал по обоим каналам: стабилизация финансовой системы, упорядочение денежных потоков. Привычным ухом я отцеживала птичий идиотизм. Из потока вынырнуло главное: купюры в сто и пятьдесят рублей. С сегодняшнего числа выводятся из обращения. Обмен – через три дня во всех сберкассах. В размере месячной зарплаты. В полном объеме вклады обменяют позже: до десяти тысяч – один к одному.

У меня тоже была сберкнижка: будущее, оплаченное прошлым. На книжке лежала приличная сумма. Меньше, чем у Яны. Яна не тратилась на спекулянтов, потому что умела шить.

Ветер нес сторублевые купюры. Под галереей Гостиного валялся холщовый мешок. Домашние животные, бегущие мимо, косились опасливо. Бумажки, не подлежащие обмену... Кто-то пустил их по ветру. Раньше по ветру пускали состояния. Я вспомнила

рыночного интеллигента: вот он выходит из дома, в руках – полный мешок. Нажитая свобода, которая пошла прахом. Оглянувшись, швыряет на землю. Свободные деньги. Мусор...

С Яной мы перезванивались каждый час. Нам казалось, это – не с нами. Танки на подступах к городу. Прямая трансляция. Шепотом в трубку: «Надо идти».

Ему я не звонила. Так уж сложилось.

Работа, общие интересы... Встречались раз в неделю. Его друг дал ключ от комнаты, в которой никто не жил. Первые годы страдала, надеялась, что все изменится. Потом, конечно, привыкла. Научилась об этом не думать, выбрасывать из головы. Иногда накатывало презрение. Уже не вспомнить: то ли к себе, то ли к нему... Во всяком случае, к своей жизни.

Под утро он *прорезался* сам: «Конечно, надо идти. Только... – шепотом в трубку, – понимаешь, Лиличка слегла. Всю ночь не отходила от телевизора. Насмотрелась всех этих ужасов. Кошмар (я прижимала к уху трусливый шепот), шла по коридору, а тут – танки. Посуда – вдребезги! И чашки, и чайник...»

Лиличка. Дым табачный воздух выел... Мне нечем дышать. Моя память отравлена цитатами. Я думаю: это не я, другая женщина. Ухо, прижатое к трубке, загорается тусклым пламенем.

Женщина, похожая на меня, не бросает трубку. Она помнит русскую пословицу: Бог терпел и нам велел.

За окном предраассветная мгла. Сама она никогда бы не решилась. Но сейчас она оденется и выйдет в пустую улицу. Ее дочь в пионерском лагере. В этом смысле у нее развязаны руки. Она не станет сидеть, *их сложя*. Она умеет анализировать идиомы. Этому ее научили еще в институте. Сложенные руки похожи на связанные...

Но тут мне позвонила свекровь.

– Таня! – обычно она не звонит. – Ты должна поехать за Сашей. Нельзя, нельзя оставлять ребенка в лагере. Ты меня понимаешь? Конечно, это совсем другое дело, но так уже было, – шепотом, в трубку, – в начале войны.

Родители отправили ее в пионерлагерь. Не верили, что враг прорвется к Ленинграду.

– Танечка, – голос свекрови дрожит. Паника, посеянная прошлым, прорастает в ее сознании. – Ты просто не знаешь, не можешь помнить, а я... – Их вагон разбомбили. Те, кто остался в живых, шли по шпалам, до самого Ленинграда. – Я не могу, не могу послать Владислава. Мой сын болен, лежит с температурой. Тридцать восемь и шесть. Я говорю, ну куда, куда ты такой? А он: я должен, должен... Ты же знаешь, когда он волнуется, всегда заболевает...

Очень правильная привычка. Ему ли, спецу по декабристам, не знать.

– Ну, хочешь, – ей очень страшно, – я поеду с тобой. Я бы и сама, но, боюсь, не дойду. Они говорят, танки. А вдруг... а вдруг придется пешком?

У нее больные ноги. Ей кажется, ее внучке тоже придется идти по шпалам, под бомбами, до самого Ленинграда...

Пикантность в том, что панику сеет не кто-нибудь, а она сама, несгибаемая коммунистка, преподаватель истории КПСС. Всю жизнь проработала в *Кульке*. Студенческий юмор приводил ее в бешенство: «Я работаю в Институте культуры». Родной сын хихикал: «В смысле, ее светлой памяти».

У моей свекрови свои боги. Бородатая троица, висящая над изголовьем. И еще один, тайный, осыпанный следами оспы. Первое время я ее побаивалась: свои мысли свекровь излагала так, будто цитировала родимый учебник. На мое счастье, ее боги не оставили скрижалей, на которых содержались бы тезисы о том, как следует мыть пол.

Когда она заводила коммунистическую волюнку, ее сын отмахивался: «Чур меня!»

«Сталин спас страну! Если бы не он, кем бы вы были? Немецкими рабами! Это он организовал эвакуацию. Вывез детей!» Сын стонал: «Ну каких детей! Твоя мать работала в райкоме». – «А Танечкиных родителей?!»

Самое интересное, что это – правда. Моих эвакуировали с детдомом. Мама говорила: последним поездом, в сентябре.

Ее внучке надеяться не на кого. Эти *болтуны* не спасут.

– Не волнуйтесь, Анна Витальевна, – мне не пристало *разбираться* со старухой. Какое мне дело до студентов, которым она *засирала* мозги? – сейчас соберусь и поеду.

– Карту, – свекровь торопится, – возьми какую-нибудь карту. Мало ли, перекроют дороги, придется идти в обход. В обход.

Я вздыхаю:

– У меня нет карты, только атлас.

– Ничего, – она находит выход, – ничего, возьми и вырви... вырви лист.

За ребенком я поеду завтра. Один день не имеет значения.

Хмурые пассажиры играли желваками. Бог, воспрянувший в языческих душах, отказывался терпеть. На лицах – следы бессонной ночи. Друг на друга поглядывали украдкой: то ли на площадь, то ли – пролетарии, на раннюю смену. Поди угадай...

Толпа давилась у эскалаторов. Те, кто назначил встречу, не встретились. Остальные – тем более. Так уж сложилось.

В разгар революционных событий транспорт, как водится, бездействовал. По Невскому мы шли пешком. Воздух дрожал от тайного ликования, светлого, как звездная пыль. Прошлая жизнь кончена. Сложилось, но больше не сложится. Мы шли, чтобы вырвать себя из прошлого – как слежалые листья.

Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь – в тот назначенный час?

Милиция жалась к стенам. Книги, замерзавшие в холодильниках, оттаяли, как кусок мяса. Литература обрела очертания плоти. В назначенный час мы все-таки вышли – вытекли, как вода, из всех щелей. Те, кто вышел, были заодно. Глаза светились решимостью. Решились и вышли. Но там, в самой глубине – а может, мне это просто кажется, такая аберрация памяти, – каждый бился не только за *общее*. Еще и за свое...

За аркой Главного штаба плескались волны. Выпей море, Ксанф! Вот он, наш эзопов язык. Это мы давили по капле, растаскивали на цитаты. Это нас, это нас Господь сподобил, пока другие разлеглись, как пласт...

Чего только мы не бормотали, когда шли по Невскому к площади, не оглядываясь по сторонам...

«Танки не выступили! *Они* не посмеют!» На трибуну, с которой согнали соек, подымались новые вожди. За их спинами чернели ажурные створки. Моряки Балтики, протрезвевшие революционные матросы, ссыпались с оседланных ворот.

Справа – фасад Артиллерийской академии. Окна смотрят на площадь. Сейчас они выкатят орудия, чтобы дать залп по мозгам... «Наша цель – коммунизм!» У тех, кто пришел на площадь, – другие цели. Двести тысяч глаз следят за слепой стеной.

От рамы к раме, перекидывая с рук на руки, тянут тряпку, похожую на белый флаг. Он падает, разворачиваясь буквами: «Армия с вами!» Море вздувается ответным криком: «А-а-а!»

Под аркой Главного штаба развешаны карикатуры. Милиция не срывает – смеется вместе с народом. «Вон этот, как его... Помнишь, подтирал сопли...» Море отступает, растекаясь ручьями. Входит в берега. «Здорово! Теперь-то всё-ё подотрут...»

Эти, подтиравшие сопли, проиграли. Потому что не тянули на идолов. Идолом стать не просто – надо иметь *харизму*. Харизматическую решимость пролить чужую кровь.

За дочерью я съездила на другой день. Бред: шла от станции и прислушивалась к пустому небу. Не налетят ли самолеты... Запах кашки и свежего сена. Так пахло мое летнее детство. Если бы не эта история, наверное, я никогда бы не вспомнила, что в детстве боялась самолетов. Маленькой прислушивалась к далекому вою: почему мне всегда казалось, что начинается война?..

«А тебе?»

Несостоявшийся декабрист выздоровел через неделю, явился нас проведать. «То же. Во время Карибского кризиса. Знаешь, мы с ребятами даже чертили карты. Прикидывали, откуда они прилетят. Американские атомные бомбардировщики. Выходило, что легче всего – со стороны Японии. Вот идиоты! – Он недоволен своей декабристской историей. – Ты уж прости. Мать – старый человек. Я правда лежал пластом. Ну что я мог сделать – уперлась: поеду и поеду».

Во всяком случае, мог позвонить сам.

Не Европа

Политические дебаты закончились: курилка обсуждала рыночные цены. Остряки с кафедры русской литературы уныло цитировали реабилитированного классика: и почему теперь фунт слоновьего мяса? Шутка не встречала поддержки: месячной зарплаты хватало килограмма на три.

Дома, в холодильнике, мерзли яйца, решая основную задачу философии переходного периода: что первично – курица или яйцо? Курице явно не светило. В последний раз удалось достать в позапрошлом воскресенье. В жизни всегда есть место подвигу. Из сочинения на *советскую тему*. Вот уж не думала, что пригодится.

Очередь сучила ногами. Бабки, занявшие с ночи, гляделись молодцевато. В кои-то веки удалось посрамить молодых. Ишь вырядились в свои сапожки. А надо было в бурочки. И обязательно чего-нибудь *подовдеть*... Бабки стояли тихо и празднично, сознавая историческое превосходство. В их спины дышал опыт ровесниц Октября.

На исходе четвертого часа группу пустили за ограждение. Презрев прилавки с овощами, бабки рванули к мясу. Кто-то, скрытый за узкой щелью, выкидывал рваные куски. Части домашних животных не долетали до поддонов: падали в руки, источая черную кровь. *Этим* нельзя кормить ребенка... Сбоку, из железной двери, выплывала куриная клеть. Цепляясь когтями, синие тушки рвались на свободу. Стадо, сбившееся у мясного отдела, подалось назад.

В руке – одноногая тушка. Вторая нога, оторванная в схватке, досталась старику. Он смотрел, моргая растеряннo. То на курицу, то на меня...

В колбасном было тихо. Колбаса по талонам. Последний день месяца. Бабки, успевшие отовариться в начале, облизывались на розовые ломти. Порывшись в сумке, я вытянула бумажную ленту.

«Доченька... – вкрадчивый голос. – Ты будешь *на все?*..» На все – два килограмма. Большая жирная колбасина. «Продай мне один...» Я вам не доченька. Старушечьи глаза сочились советским елеем. Это у них принято: чуть что, братья и сестры... доченьки и сынки...

«Нате». Оторвав талон, я сунула ей в руку. Она смотрела, терзаясь недоумением: в ее жизни не бывало *за так*. Обменять, выгадать... В крайнем случае чем-нибудь пожертвовать. Мое *за так* выбивало почву у нее из-под ног. Елей сменился презрением: всю свою жизнь презирала дур вроде меня. Мгновенно забыв о моем существовании, она копалась в розовых ломтях...

В корзинке ежилась пупырчатая тушка. Чтобы достаться мне, она пожертвовала ногой. Я шла к кассе, оглядываясь по сторонам. Старик исчез бесследно. Вместо него остался одноногий стыд...

Женщина, преподававшая русский язык, возвращалась домой с добычей. Солнце четырех революций било в глаза.

На Невском образовался стихийный рынок. Вдоль подземных переходов выстроились привидения. Явились на запах прошлого. Для пущего сходства вскрыли забитые кладовки, облачились в отрепья военного коммунизма. В руках какие-то плошки, вазочки, ношенные *польта*. Сложись по-другому, их внуки могли бы перелицевать.

Теперь – все на продажу. На блошиных рынках принято мыслить эпохами. Дореволюционное *пошло* в Гражданскую, *нэпманское* – в Отечественную. Теперь идет *наше*.

И мотор ревет... Что он нам несет, пропасть или взлет? Ты не разберешь, пока не повернешь за па-ва-рот!..

Из раструбов рвется песня. Женщина подходит к старухе: «Сколько?..» Старуха называет цену. Бросовую. Женщина говорит: «Я бы купила, но у меня уже есть. Точно такая же». Фарфоровая собака провожает горестным взглядом.

Ее собака стоит на книжном стеллаже. Когда-то давно муж принес с помойки. Время от времени совершал обход. Жалел, что *прошляпил* золотое время, когда государство строило хрущевки. Люди, переезжавшие из коммуналок, избавлялись от старых вещей. Особенно от крупного скарба: буфеты, дубовые столы на слоновьих ногах. То, что не втащишь в *хрущобу*.

В семидесятых равноценного улова не предвиделось. Старая гравюрка, просиженный венский стул. Иногда выбрасывали и всякую мелочь вроде костяных слоников или фарфоровых собак. Кофемолка: деревянный сундучок с медной рукояткой. *Надыбал* на помойке. Старые кофемолки растирают зерна. Знатоки утверждают, что так выходит вкуснее. Новые, электрические, не растирают, а бьют.

Мой бывший явился тем же вечером. Рылся в обшарпанном портфеле. На кухонном столе выросла целая стопка: *Аргументы и факты*. Похоже, чувствовал себя книгоношей. Народ в данном случае – я.

«Да, – он шарит на дне, – чуть не забыл! Еще и “Огонек”. Просто уму непостижимо!»

«Ну, и зачем мне все это?»

«Как – зачем? – Он моргает растерянно. – Читать. Вот, смотри...»

Он листает журнал, перебирает газетные вырезки. Кое-что пересказывает своими словами. У меня нет сил его слушать. Мы живем на разных планетах. На моей разучились читать.

«Знаешь, что я заметил: ведь мы знали и раньше. Но когда так, в открытой печати... В этом есть что-то *окончательное*», – он замирает, прислушиваясь к сказанному слову.

Слово и дело. Это – не его слоган. Таким, как он, достаточно слов. Делом пускай занимаются другие. Например, женщины. У Чехова, в *Даме с собачкой*, сказано: женщины – низшая раса...

«Не верил, что доживу. Доживу до свободы. Сейчас многое решается. Говорят, вот-вот появятся демократические партии. Ты можешь себе представить – не Партия, а партии! Если появятся... В общем, – он подбивает газетную стопку, – собираюсь вступить».

«А что твоя маман? Тоже почитывает?» Он качает головой: «Не даю. Боюсь, не выдержит сердце. – Раньше небось выдерживало... Весь этот бред про минимальные репрессии, необходимые для построения счастливой жизни. – Стариков агитировать поздно. Они в это верили». Я говорю: «Старики старикам рознь. Некоторые, кто поумнее, давно разобрались. Кстати, Сашка просила сыру. Если увидишь...» Он кивает неуверенно: *низкое* его не занимает. Ему претят подобные мысли. Исключительно платоновские идеи – не сыр, а идея сыра. В этом смысле сын пошел в мать.

«Ты какой любил?» – «Что? – он теряет нить. – Что – какой?» – «Ну, не знаю: “Голландский”, “Советский”, “Эстонский”?..» – «А... Вообще-то какой попадется – честно говоря, никогда не различал...» Как видовое понятие сыр исчез еще при советской власти. Во всяком случае, на моей памяти. Осталось родовое: сыр и сыр...

«Знаешь, – он смотрит задумчиво, – меня изумляет твое равнодушие. Мыслящий человек должен *занять позицию*. Перед лицом истории это – наш долг».

Лицо истории – не моя специализация. У меня другие долги.

Это он может думать о чем угодно, например о Европе, с которой надо брать пример. Впрочем, оказывается, и тут не все гладко. Он находит нить, подхватывает двумя пальцами: сейчас примется сучить.

«Представь, в Европе новая мода – отрицают *историческое сознание*. Для них оно связано с линейным течением времени, говорят, остаточные явления модернизма». Когда-то давно он прислушивался к их мнению. С грехом пополам читал их книги в подлиннике.

Он смотрит на меня искательно, как будто ищет поддержки. В крайнем случае утешения. Чем я могу утешить?

«Не горюй! Мода быстро проходит. Помнишь, ты сам рассказывал: брюки-дудочки, нейлоновые рубашки. Ну, эти, как же их, бобочки... Что там еще? Плащи-болоньи, кепки *в рубчик*...» – Я подбираю примеры из его ранней юности. Можно сказать, отрочества. В отрочестве память надежнее. Его двоюродного брата чуть не вымели из комсомола за узкие штаны.

Их отцы, те, кто остался в живых, носили широкие. Напялив дудочки, дети отреклись от отцов. Выжившие отцы скрежетали зубами. Дети смотрели вызывающе: старичье!

Их широкие штаны появились во времена индустриализации. Коллективизация, хре-нация. Страна подымалась из руин. За руинами уже маячили бараки, но те, кто питал иллюзии, еще имели на это право: *никто ни о чем не знал*.

Из широких отечественных штанин можно достать разве что советский паспорт – дубликат бесценного груза: страданий, безотцовщины, голодомора, заполошных ночных звонков, других – тоже ночных, но безликих и веских, как греческий фатум.

Братья и сестры, Великая Победа, поруганные надежды, нищета, безродные космополиты, XX съезд, темные подворотни, хриплый перебор гитары, стыдные знаки ночной извергающейся мужественности...

Это – их история, с которой они разобрались сами. Прочли в замороженных книгах. Добрались до правды. Обошлись без отцов и матерей.

Он привык уважать европейскую науку. Если европейцы говорят о конце истории, значит за этим что-то стоит... Конечно, он имеет право сомневаться, даже в научных выводах, но как бы то ни было, с европейцами надо договариваться. Просто так не отмахнешься.

Его не убеждают мои *одежные* примеры. Кажутся легкомысленными. Сиречь несерьезными. Впрочем, мне тоже: положи руку на сердце, при чем здесь Европа? Разве она, эта лунная широкоглазая корова, которую Зевс, похотливый языческий бог, перенес через море, чтобы кинуть на ложе, на котором, в положенный срок, она стала матерью будущих царей и судей, придумала наши кепки в рубчик, куртки-бобочки, алые рубашки, выкрашенные домашними средствами – в *выварках*, непрерывно помешивая, на коммунальной кухне? При чем здесь она, старая широкозадая Европа? У нас свои молодые традиции. Самая безобидная – жирный *салат оливье*...

«Они говорят: будущее нельзя выводить из прошлого. Во всяком случае, после крушения коммунистической системы. 1989-й стал рубежом, – он ведет по столу ребром ладони, – когда идея коммунизма потерпела крах. Рухнула, – добавляет раздумчиво, – как Берлинская стена».

«Так это ж в Европе. – Я смотрю на идеальную линию, отсекающую советское прошлое: маршрут, по которому плыла Европа, пролегает по моему столу. – Мы – не Европа».

«Но скоро станем. И тогда, если им верить, основополагающим принципом станет непредсказуемость будущего: все кардинально меняется, зависит от конкретных обстоятельств, нельзя использовать исторический опыт. Они считают, что если и говорить о линейности, так только на отдельных отрезках, коротких, как человеческая память, личная... – он машет рукой. – Конец истории. Иными словами, полнейшая неопределенность. Но это – не так. Наша история циклична... Циклична. Этого нельзя недооценивать. Если бы меня

спросили, я ответил бы совершенно определенно. Человек – животное историческое. Нельзя начать заново. Теперь у них новый идол – рынок. Просто дикость какая-то! Натуральное языческое сознание. Языческое. – Раньше я этого не замечала: когда волнуется, повторяет слова, как его мамаша. – Хоть это тебе понятно?»

Вот теперь мне наконец-то понятно. Полжизни потратить на исторические схемы, подобрать сотни примеров, прислушиваться к брату, носившему брюки-дудочки, чтобы теперь, когда дошло до дела, остаться не у дел.

«Ты чего хочешь? Чтобы тебя позвали в консультанты? Для этого надо как минимум защититься. На тебе ж не написано, что ты – непризнанный гений».

«Ученый... – Он мажет хлеб маслом. Про себя отмечаю: последняя пачка. Масляных резервов больше нет. – Настоящий ученый должен думать, а не носиться с проклятыми бумажками. Интеллектуал живет своей внутренней жизнью. Ищет закономерности... А вся эта беготня, хитрости, уловки... Научный руководитель – одно, оппонент – другое. Замучаешься утрясать...»

Похоже, защита снова откладывается.

Он морщится: «Разве я об этом... Так, в общем...» Общественное выше личного: моя свекровь вырастила достойную смену.

«А все-таки?» – «Скоро». – «И что потом? Позвонят из Кремля?» – «Потом дадут старшего научного». – «О! – я изображаю радость. – И какой у них оклад?» – «Ты, – он смущается, – про алименты? Ну девятьсот. Конечно, я буду платить». До сих пор не приносил ни копейки. «И сколько?» – уточняю деловито. «Ну... – он вешает голову. – По закону». – «То есть, – я прикидываю в уме, – двести двадцать пять. В пересчете на рыночное мясо – два килограмма».

«Ты... предлагаешь воровать?» – «Не-ет... – отвечаю нежно. – По закону твоя дочь должна опухнуть... Или как там у вас, *в общем?* Опухнуть потом?» – «Не преувеличивай, – он снова морщится. – Ох, – бьет себя по лбу. – Я же тут принес».

Пачка печенья. «Вот, из Голландии. Прислали гуманитарную помощь».

«Слушай, – я тоже морщу лоб. Мне плевать на будущие морщины. – Как же его?.. Тоже гуманитарий. Эразм Роттердамский. Это он написал *Корабль дураков?*» – «Нет, – мой бывший косится в сторону. – Эразм написал *Похвалу глупости*». – «Тем более».

Господи, как же мне тошно.

Я встаю: «Кажется, тебе пора».

Он крутит головой: «Ты не помнишь, где у нас лестница?» – «У вас – не знаю. А у меня – в кладовке. Тебе зачем?» – «Да так, – мой бывший оглядывается, – хотел кое-что забрать с антресолей. Старые записи, заметки...»

Только этого не хватало: погрома в прихожей. Я иду за ним в коридор.

«Ты не будешь возражать, если я возьму папки твоего отца? Не бойся, просмотрю и верну. В целостности и сохранности», – он вытаскивает лестницу.

«Тихо! – я успеваю вовремя. – Не кокни плафон».

Не понимаю, зачем ему понадобилось. Впрочем, мне все равно.

«Последнее время думаю о русском бунте, – он усмехается. – Мы же отродясь не умели договариваться. Основной вопрос русской философии: кто – кого? Или они нас, или мы – их».

Он приставляет лестницу, заносит ногу на ступеньку.

«Кто это сказал: у нас не было нормального Средневековья? Отсюда и все беды, – нога замирает в нерешительности. – Сами-то европейцы действовали постепенно: сначала – формы. Институты будущей демократии. Первое время в них булькало средневековое варево. С веками как-то уварилось, наполнилось новыми смыслами...»

Такими темпами он не скоро доберется до верха.

«Слушай, – я нахожу выход, – а ты возьми и нарой других цитат. Сам же говорил: были бы цитаты, всегда можно передернуть. Уж этому вас научили...» Он злится: «А вас?» – «И нас, – я соглашаюсь. – Какое там бывает: раннее и позднее? Возьми и докажи, что у нас как раз запоздалое... *Запоздалое Средневековье*. Звучит. Вот пусть и уваривается. Булькает в ваших ученых головах. А мы уж как-нибудь...» Стоя на лестнице, он подает мне папки, перевязанные обшарпанными тесемками. – И еще, – я подвожу итог научной дискуссии, – мне *очень* нравится рынок. Обрыдло стоять в очередях. Уж не знаю, как там по науке, но нам, чтобы стать Европой, надо научиться не бить баклуши, а работать. Научимся – будет всё».

«Ну где, где ты набралась этих пошлых глупостей! – он взмахивает пустыми руками. – Европеизм – не труд, а *досуг*. Умственное напряжение, привычка к творческому мышлению. Если угодно, к рефлексии».

Это мы уже проходили: чистое умственное напряжение. Пустая кухонная болтовня. Десятилетия творческого досуга, проведенные за спинами идиотов, которые были вынуждены *пахать*.

«Слезай, – я придерживаю шаткую лесенку. – Долго мне так стоять?»

Он запихивает папки в портфель.

«Твой отец интересовался могилами декабристов?»

«Нет, – я качаю головой, – не помню. Тебе-то – зачем?»

«Да тут. В *Огоньках*. Просматривал старые номера, наткнулся на ряд публикаций. Кажется, их все-таки обнаружили. Только не на Голодае. Где-то рядом, на маленьком острове. Черт, – он морщит лоб. – Вылетело название. Теперь там все изменилось: какой-то завод. Не то судостроительный, не то кожевенный...»

Он защелкивает распухший портфель.

Цены пришлось повысить. Яна утешала: «Господи, ну где ж это видано? Академический час за пачку соли». На нашей спринтерской дистанции соль вырвалась вперед. Я бежала сзади, прихрамывая. Сообщая родителям учеников, стеснялась смотреть в глаза. Те, кто звонил, начинали с *главного*. Благодарили и вешали трубку.

Я помню то утро. Всегда буду помнить. В первый раз мне было *так* страшно. В кошельке осталось двести рублей. В пересчете на *новую жизнь* – две бутылки воды. Их продают в ларьках: импортные, двухлитровые. Зарплату снова задерживали. Напрягая чугунную голову, я пыталась найти выход: что-нибудь продать? Или убить. Например, соседскую старуху. Чем я хуже Раскольников?

Склонившись над краном, я пью жадными глотками. От холода сводит зубы.

У меня остался последний ученик. Вчера мы писали сочинение. По Достоевскому.

«Роман *Преступление и наказание* – это психологический отчет одного преступления, которое совершил бедный студент. Однако в романе речь идет о необычном уголовном преступлении. Это, если так можно выразиться, идеологическое преступление. – Я бормочу и не могу остановиться. – Оно явилось следствием трагических обстоятельств окружающей действительности, результатом долгих и упорных размышлений героя романа о своей судьбе, о судьбе всех униженных и оскорбленных...» Плевать на униженных и оскорбленных, на все эти нравственные законы, по которым живет человечество. Мне нечем кормить дочь. Завтра, когда мы сварим последнюю пачку гречи...

У соседки – полные закрома. Пока мы перемалывали *преступления и наказания*, старая ведьма запасалась крупами, таскала полными авоськами, забивала кладовку, складировала на балконе, прятала под кровать...

Позову Яну – пусть отвлекает. Позвонит в дверь, скажет: вам пришла гуманитарная помощь, из Голландии, а я тем временем – раз! – и перемахну. Ее балкон – рядом. Если встать на табуретку...

Перед глазами идиотская картинка: сверзившись с балкона, я лечу, прижимая к груди пачку макарон.

Всё – приказываю себе. Не блокада. Как-то устроится. «Ага, – я слышу внутренний голос. – Цветаева тоже так думала. А потом ее дочь умерла...»

После занятий меня вызывает заведующий кафедрой.

«Татьяна Андреевна, зайдите на минутку».

На службе мы на *вы*. Даже в отсутствие посторонних. Яна называет это ленинскими принципами. Он – разумной конспирацией. От игр разума воротит с души.

На этот раз ожидается рабочая встреча в Исполкоме. Комиссия распределяет гуманитарную помощь. Продукты и одежду. Вроде бы из Финляндии. Приглашают представителей вузов. Ректор распорядился командировать кого-нибудь из наших.

«Конечно, – завкафедрой смущается, – я и сам... Кстати, после встречи обещают *фуршет*».

По-нашему – *жратва*. Я думаю: не убить, так – украсть. Незаметно сунуть в сумочку хотя бы пару бутербродов.

Женщина и ее любовник входят во внутренний дворик Исполкома. Они пришли заранее, чтобы не опоздать. До назначенного часа остается минут двадцать. Он сетует: «Обнаружились случаи злоупотреблений. В таких комиссиях нужны честные люди». Она говорит: «Хорошо бы кофе. Очень хочется *злоупотребить*». Утром она зачем-то рылась в шкафчике, хотя отлично помнила: последняя упаковка кончилась месяц назад.

Исполкомовский двор залит солнцем. На дворе ранняя осень. По-нашему – бабье лето. В прошлой жизни она любила кофе. Кофе и этого мужчину. Или ей только казалось... Впрочем, здесь нет ничего удивительного. Она – *советская женщина*. Советские женщины любили многих. У каждой эпохи свои герои. На нашу долю пришлось слишком много эпох...

Теперь она любит кофе.

«Сначала пытались распределять через ЖЭКи. *Адресно*. И что? – любовник вопрошает. – Раз-во-ро-ва-ли. Тебе, например, досталось?»

Он обращается на *ты*, потому что они одни. Интересно, на фуршетах подают кофе?

«С портфелем не пустят». – «Что?» – он прижимает портфель к животу. У них у всех обшарпанные портфели. «Во всяком случае, обыщут на входе». – «У меня же... – он щелкает замками. (Черт с ним – на входе, лишь бы не на выходе.) – Вот, одни пустые мешки». Из кожаной пасти лезут пластиковые пакеты. Мятые. В универсамах в них пакут продукты. Хорошие хозяйки пакетики не выбрасывают: отмывают, развешивают сушиться над плитой.

«В Исполкоме всегда буфеты. Сыр, колбаса. Вообще, бутерброды. А ты не взяла? Я, – он снова смущается, – тоже не сообразил. Это все жена».

«У меня, – женщина говорит серьезно, – нет жены».

Ее любовник моргает глазами: «Если что, я, конечно...» В сложившихся обстоятельствах он готов снять с себя последний мешок, поделиться самым дорогим. «Ну что? Подождем или?...»

«Волга», ожидающая своего хозяина, замерла в уголке. Крылья забрызганы грязью. Хочется сказать – крылатый исполкомовский конь. Сивка-Бурка, вещая каурка, встань передо мной, как лист перед травой... В этом дворце решаются все вопросы. Еще немного, и Сивка-Бурка перенесет нас в европейское настоящее...

Во двор въезжает машина. *Таких* я никогда не видела. Куда там – исполкомовский конь... Белая, с пухлым задом. Бока – как ангельские крылья. Посланец с другой планеты, неопознанный летающий объект...

Из машины выходит человек. На вид ему лет сорок. Темные собранные глаза. В руках черная папка. Брюки, слегка мешковатые, набегают на туфли. Он одергивает и притопывает для верности. К заднему стеклу приткнулась сторублевая бутылка. Женщина душит в себе *классовое чувство*. Классовые всегда злобные. Интересно, бывает классовая любовь?..

Он идет в нашу сторону. Взгляд скользит по исполкомовской стене.

«Фри-идрих!» – Раскрывая объятия, заведующий кафедрой выступает навстречу. Тот, кого называли Фридрихом, кривит губы в улыбке. Я отступаю в сторону: встреча старых друзей.

«Позволь тебе представить, – мой любовник начинает церемонно, – Татьяна Андреевна, моя коллега, специалист по русскому языку и литературе. А это, – заведующий кафедрой завершает ритуал знакомства, – Евгений Фридрихович, мой давнишний знакомый. В прошлом – успешный архитектор. Ныне, – косой взгляд на белую машину, – весьма успешный бизнесмен».

Татьяна и Евгений.

«По литературе? – тот, кого называли Фридрихом, смотрит так, будто примеривается купить. – Сеяли разумное, доброе, вечное? – В его улыбке мне чудится что-то обезьянье. – Как раз ищу грамотного человека. На должность референта. Вы бы не согласились?» – «Но она...» – советский любовник вскидывает брови. «Видимо, вас интересуют условия?» – обезьяний рот блещет белыми зубами. «Нет, – специалист по русскому и литературе усмехается. – Не интересуют. Я согласна».

Про себя я уже называла его Фридрихом.

Я видела: он удивился.

«Прекрасно», – согнав улыбку, Фридрих подманивает машину. Водитель подает боком. Пустая бутылка катается у заднего стекла. «Прошу вас». Он распахивает переднюю дверцу. «Поехали, – приказывает водителю. – *Здесь* решим завтра».

Мешки, жаждущие гуманитарной помощи, разевают пасти. Непроизвольным движением их владелец поджигает кисти рук. Теперь они похожи на кроличьи лапки. Уезжая в белой машине, женщина думает: «Вот именно». Кролик при виде хорька...

Инопланетная машина выезжает на Невский. Фридрих сидит сзади, шуршит бумагами. «К Гостиному».

Водитель перестроился и свернул.

*Что такое осень? Это – ве-етер. Вновь играет рваными цепя-ями.
Осень, доползем ли, долетим ли до ответа: что же будет с ро-одиной и с нами?*

На углу – бродячий оркестрик. Исполняет популярные песни. В этом сезоне самые популярные – ДДТ. На тротуаре – старая шляпа. Прохожие останавливаются, бросают монетки.

Выходя из машины, я чувствую себя неловко. Как на сцене: согласилась на роль, не зная слов. Прохожие смотрят во все глаза. Ветер несет их классовые чувства. Завивает, как пустые деньги. Чувства сограждан шуршат под ногами.

«Это, – мы вступаем под своды Гостиного. Фридрих обводит рукой, замахиваясь на целый отдел, – всё наше. Привезено из Европы». Платья, юбки, туфли... Одежда развешана на вешалках. От пола до потолка. «Если интересуетесь, – он смотрит искоса, – можно что-нибудь подобрать. Для наших сотрудников цены символические».

Красавица, стоящая за прилавком, оборачивается в мою сторону. Изобразив английскую королеву, я качаю головой. Больше всего на свете королеве хочется новые туфли. Лодочки, с черными бантами... «Благодарю вас». В английских хрониках появляется новая запись: Ее Величество повела себя как *дура*.

«Вы торгуете одеждой?» Мы шли по Гостиному. «Нет. Просто подвернулась выгодная партия. Я занимаюсь мебелью. Кстати, – Фридрих остановился у прилавка. – Забыл купить воды. – Сторублевые бутылки сияют всеми цветами радуги. – Черт! – Он роется в карманах. – Оставил в машине. У вас нет мелочи? Рублей сто или двести. Не хочется возвращаться. Я отдам».

Женщина вынимает кошелек. Ей тоже *не хочется возвращаться*.

«Вот». Единственная бумажка. Последние двести рублей.

«Когда-нибудь, – пройдя по галерее, мы остановились у поребрика, – вы станете миллионером, а я напишу мемуары: было время, когда я одалживала вам деньги». – «Договорились, – Фридрих откликнулся серьезно. – Только я – уже». Рублевая бутылка зашипела и пошла пузырями. «Причем в долларах, – он мотнул головой. – Хотите водички?» Нищая королева сменила гнев на милость: «Спасибо».

«Мать моя, да ты действительно дура! – Яна явилась в тот же вечер. Мы сидели на кухне, обсуждая подробности. – Ты хоть видишь свою задачу? Со-блaз-нить. Вношу ясность: миллионеры – такие же мужики. Только денежные». Новое время рождало новые максимы. В ее сознании они выпекались, как пирожки.

«Прямо сразу?» – «А чего тянуть? – Яна не разделила скепсиса. – Дождаться, пока кто-нибудь перебежит дорогу? Судя по всему, процесс отлажен: ишь, на должность референта... Кстати, узнала бы, как там у них с биологами? Могу наладить мясо-молочное производство. Чем плохо? Будет своя убойка», – изогнувшись на стуле, она поддержала лифчик.

«Сама дура!» – я реагирую с опозданием. «Вот! – Яна кивает удовлетворенно. – Гражданин Юпитер сердится. Значит, он глубоко неправ». Юпитер – римский Зевс. Это он украл Европу.

Чашки норовили выпасть из рук. Я мыла, отвернувшись к раковине. «Не слушай меня, – за моей спиной Яна всхлипнула. – Я просто завидую. Мне-то что делать? Копила, копила... У тебя остались деньги?»

Наши деньги сгорели. Об этом позаботились проклятые сойки.

В Гостином я выложила последнее. Фридрих забыл отдать...

* * *

Кажется, я уже прилипла к сиденью. Фридрих помалкивает. Иногда бросает пустые фразы. Время от времени он выходит из машины, исчезает: то на полчаса, то на час. Мы дожидаемся молча. Водитель придремывает. Видно, привык.

Водителю Фридриха лет под шестьдесят. Такое впечатление, что он вообще не отдыхает: вечно *в распоряжении*, чуть не круглые сутки. В их отношениях мне чудится что-то патриархальное, как у барчука с дядькой. Впору вспомнить про заячий тулупчик. Случается, Фридрих на него покрикивает. Барский гнев дядька переживает отрешенно: не похоже, что боится. Если Фридрих исчезает особенно надолго, недовольно ворчит: «Дела, дела... Пряму держу не знают».

Улучив момент, я спрашиваю: «У вас есть семья?» – «Жена, – Петр отвечает с готовностью, – жена и две дочки».

К обеду мы возвращаемся в офис.

«Это моя гостья, – Фридрих выговаривает поварихе. – Следующий раз готовьте с запасом. Надеюсь, я имею право принять гостей». На тарелке большая котлета. Он делит пополам. Я слабо сопротивляюсь. «Перестаньте, – Фридрих морщится. – Не блокада».

После обеда он исчезает в кабинете. Я дожидаюсь в приемной. У Евгения Фридриховича две секретарши: блондинка и брюнетка, как в хорошем голливудском вестерне. Обе – моих лет. Разговаривают вполголоса. Заходя в кабинет, аккуратно прикрывают двери. На меня не смотрят: сидишь и сиди.

Наконец он выходит, бросает: «Буду в восемь». Я мотаю на ус: ненормированный рабочий день. А дети? Как же они устраиваются? У меня – ни мужа, ни бабок. Только Яна. Фридрих оборачивается ко мне: «Поехали». Мы снова пускаемся в путь...

Она прибегает после работы. Кормит мою Сашку. Дети делают уроки. Вечером укладывает их спать. Прибирает на кухне, дожидается меня.

Дети учатся в пятом классе. Им задают задачки *на движение*. Яна не сильна в математике: «Вот, – она открывает учебник. – Может, хоть ты вспомнишь...»

Я устала. Яна говорит: «Ты же у нас умная: вечно решала ребусы». Ребусы и кроссворды. Кроссворды и ребусы. Когда-то давно я любила *решать*.

«Из пункта *A* в пункт *B*... – Это – не ребус. Мне не собраться с мыслями... – Вышли два пешехода...» Я сажусь в кресло, закрываю глаза. «Кофе сварить?» – Яна окликает из кухни. «Не кричи, – забираюсь с ногами, – разбудишь детей».

Из пункта *A* в пункт *B* (я ставлю две жирные точки) вышли два пешехода... Первый пересел в машину – белую, с пухлым задом. Второй бредет по обочине (точка-точка, запятая...). Через сколько часов второй догонит первого, если первый – богатый мужчина, а второй (ручки-ножки, огуречик) – нищая училка, которой надо кормить дочь?..

Я заглядываю в конец учебника. Мой ответ *не сходится*. Яна приносит кофе: «Ну?» – «Не помню. Когда-то решала, а теперь... Отшибло мозги». – «Ну и черт с ними, – она старается меня ободрить. Забирается в другое кресло. Устраивается с ногами. – Знаешь, о чем я думала... Все-таки жаль, что Сережка смылся в Америку. Уж он бы точно что-нибудь придумал. Этого у него не отнимешь – умел зарабатывать».

С моим мужем – тогда еще не бывшим – у них случился роман. Стремительный и краткосрочный, как все ее любовные истории. Меж иными подругами это могло стать водоразделом. Но мы – не таковы. Только этого не хватало – ругаться из-за мужиков.

«Вот-вот, – я говорю, – а ты не ценила...» – «Можно подумать, – она защищается, – ты ценила... Я-то помню, как ты на него косилась...» – «Косилась», – я соглашаюсь. «Эх, – Яна потягивается в кресле, – теперь бы пригодился...»

* * *

«Выходим». Водитель прижимается к кромке тротуара. Местный мужичонка, пьяненький и невзрачный, ползет вдоль канала. Заметив инопланетную машину, замирает тупо и недоверчиво. Подхватывается, ускоряет шаг. Я смотрю ему вслед: на Крюковом канале полно *достоевских* персонажей. Где-то здесь танцевала несчастная Катерина Ивановна: мне чудится хриплый надорванный голос.

Когда я училась в старших классах, отец устраивал мне экскурсии. «Пыль, кирпич и известка, вонь из лавочек и распивочных, комнаты – гробы в полуразвалившихся домах. Смотри, в этом доме жила семья Мармеладовых».

Мы заходили во двор, осматривали колодезные стены, выгорелые и подкопченные, словно от века. Об их жизни отец говорил в прошедшем времени.

Мы с Фридрихом переходим на другую сторону. В ушах стоит плач голодных детей.

«Здесь у нас еще один офис», – Фридрих бросает на ходу.

Узкая деревянная лестница, стены, исписанные от потолка до пола. Запах мочи и жареной капусты: я иду, стараясь не дышать. Мы поднимаемся на третий этаж, входим в квартиру. Бывшая коммуналка, которую не так давно расселили: в прихожей следы от вешалок. Изгвазданные стены, по потолку – рваная лепнина. Фридрих знакомит меня с секретаршей. Ее приемная устроена в проходной комнате. В дальнем углу пучится лиловатая протечка. Он говорит: «Мне надо отъехать, ненадолго. Пожалуйста, побудьте здесь».

«Если хотите, можете выйти на балкон. Там очень красиво», – девушка-секретарша улыбается вежливо и предупредительно.

Я дергаю балконную дверь.

Город пышный, город бедный, вид неволи, стройный вид...

Я смотрю, затаив дыхание: высокая колокольня, за ней – Никольский собор. Стены собора покрыты сизыми потеками. Напротив – старый Гостиный двор.

Красота смерти, от которой захватывает дух. Об этом я только читала: город, умерший после революции. Кажется, у кого-то из Серапионов. Петербургу пристало умирание. Темный, языческий город: умирающее и воскресающее божество. Нам *тоже* выпала эпоха смерти...

Вдоль канала движется кавалькада. Две черных, одна белая.

Три машины останавливаются под самым балконом. Из белой выходит Фридрих. Одергивает штанину, решительно направляется к парадной. Я смотрю и не нахожу ответов. В этой задачке что-то не сходится. Метроном в мертвом городе. *Та* к стучит мое сердце...

«Познакомьтесь: мои партнеры».

В руках бумажные пакеты. Глаза пристальные и холодные. Его партнеры похожи друг на друга как две капли воды. За стеной что-то капает. Я слышу звон падающих капель.

Икра, колбаса, темные пузатые бутылки. Фридрих, которого они называют Женей, отворачивает крышки, рвет цветные упаковки. «Прошу», – он придвигает стул.

Я не чувствую вкуса, жую, как кот солому, ем и прислушиваюсь: разговор о какой-то *схеме*. Постепенно все проясняется: партия спирта, который везут через границу. Перегрузка, документы, таможенные пошлины. Похоже, суть дела именно в пошлинах. Фридрих чертит на клочке бумаги, пишет какие-то цифры. Его рисунок похож на ребус.

«Ну?» Пошлины – те же потери. Он рад своей выдумке. Партнеры следят, наморщив узкие лбы. Не удивлюсь, если на каждого приходится по восемь классов...

«А вы что скажете?» – он поворачивается ко мне.

За моей спиной *сто лет* учебы. Теперь это никому не нужно. Приставки, суффиксы, окончания... Великая русская литература. На худой конец – вступительные сочинения.

Я откладываю бутерброд с икрой. Протягиваю руку к их ребусу: «Позвольте взглянуть».

Это – не моя работа. Я вглядываюсь в каракули. Мне надо кормить ребенка, точнее, не одного, а двоих: свою дочь и Яниного сына... Где же я читала? Японка подняла автомобиль, который наехал на ее сына. Просто взялась двумя руками...

«Ну как, нравится?» Фридрих переспрашивает насмешливо.

«В общем – да... – У меня загораются щеки. Тру, сбивая тусклое пламя. – Но здесь, – я указываю пальцем, – можно сделать по-другому».

«По-другому?...» Он придвигается поближе. Заглядывает мне под руку. Бумажка, на которой я рисую, заляпана колбасными пятнами. Японке достался автомобиль. Мне – железнодорожный вагон. Ребус. Задача на движение: из пункта А в пункт В... В середине пути

мой состав подстерегает таможня. Ручки-ножки, огуречик... Чтобы решить, надо ввести третью точку. В крайнем случае – запятую. Для меня этот случай и есть – крайний. Я – не героиня Достоевского. Такой роскоши я себе не позволю – ни сдохнуть, ни сойти с ума. Я заново ручку: положим, точка С...

Фридрих хохочет. Он уже прикинул. «Ничего себе! Экономия – тысяча шестнадцать... Да вы – криминальный талант! Если перевести в рубли... – он считает в столбик, – три пишем, семь на ум пошло...» Про себя я пересчитываю на бутылки. Воды хоть залейся. Партнеры переглядываются. Не такой уж он трудный, их японский железнодорожный ребус...

Вечером мы возвращаемся на Садовую.

«Простите, но завтра я опоздаю. Мне надо сходить в институт». – «Заче-ем?» – Фридрих смотрит удивленно. «Получить зарплату. За прошлый месяц». – «И какая у вас зарплата?» Он сохраняет серьезность. Я отвечаю твердо: «Пятьсот рублей». Фридрих выдвигает ящик. «Вот, прошу. Надеюсь, этот вопрос мы закрыли. У меня вы будете получать десять тысяч. Это вас устраивает?»

Собственное мебельное производство. В перспективе, если все получится, – банк на паях. Он делится со мной своими планами. Планы воистину наполеоновские. Главная проблема: катастрофически не хватает людей. Говорит: никто не умеет работать. По каждой ерунде ждут распоряжений. «Я не жадный. Плачу по-человечески. Не у-ме-ют». Обезьяний рот вспухает бугром.

«Поймите... Дело не в деньгах. Денег, – он шевелит пальцами, как будто отсчитывает купюры, – я уже заработал. Лет на сто безбедной жизни... Кстати, вы водите машину? Жаль. Хорошо бы научиться. Но это – не главное. Можно взять водителя. Главное, у нас мало времени. Надо все делать быстро». – «Почему?» Обезьяний бугор вздрагивает: «Чтобы успеть...»

Быстро и решительно. Из пункта А сразу в пункт В. Плевать, что посередине – таможня. Там тоже работают люди. Я уверена, сам-то он знал. Знал, как решается эта задачка. Неужели хотел испытать? Убедиться, что наши ответы сходятся. Понять, что я *за зверь*. Домашнее животное или... готова сражаться, потому что помню, как пахнет кровь? Те, кто не помнят запаха крови, становятся жертвами.

В животном царстве это называется *цепью питания*. Такая естественная иерархия: выигрывает тот, кто окажется наверху.

* * *

Яна мешает в кастрюльке: «Что ли, еще посолить?...» Деньги, которые обещал Фридрих, притупили ее вкусовые рецепторы. «Не знаю. Только бы взял...» – «Да куда он денется! – она кидает щепотку соли, оборачивается, переходя в наступление. – Ты же у нас – красotka, – она тащит меня к зеркалу. – Ну, погляди на себя...»

В отличие от нее, я ни в чем не уверена. Мое отражение корчит обезьянью гримаску.

«Представляешь, вчера мне приснилось, будто я превращаюсь в обезьяну». – «В каком смысле?» – ее отражение хлопает ресницами. «Вздрагиваю от каждого шороха. Озираюсь и прислушиваюсь. Все время жду подвоха».

Яна отворачивается от зеркала, машет рукой: «Не выдумывай! Надо просто расслабиться. Дернуть русской микстурки».

Этого добра у нас – хоть залейся. Водочные талоны мы отоваривали исправно.

Яна разливает по рюмкам: «Ну, за тебя!»

Всю жизнь мы понимали друг друга с полуслова. Только Яна была смелее: то, в чем я боялась себе признаться, она договаривала до конца. У нее храбрая память, на которую она

привыкла полагаться. Она помнит все свои шмотки. Шмотки, висящие в ее памяти, сшиты из ворованного лоскута: всю жизнь она кроила, перелицовывала, подгоняла под себя... В моей памяти висят готовые платья – я всегда покупала у спекулянтов. Готовые платья – те же цитаты, каркас выпускного сочинения.

Я не решаюсь рассказать. О том, как билось мое сердце, когда я смотрела вниз с балкона. Следила, как он выходит из машины, одергивает штанину...

«Кстати, – она застывает с половником, – звонило домашнее животное. Два раза. В институте переполох. Обсуждают твою блестящую карьеру». – «А ты уж, конечно, *подлила?*» – «Ну, – Яна опускает глазки, – не без этого. Но в целом вела себя сдержанно и корректно». – «Представляю...»

Она прижимает ладонь к уху: «Кто-кто? Так, домработница. Хозяйки дома нету. Татьяна Андреевна уехали в командировку. Не успели вернуться и снова уехали. В этот, как его... – свободной рукой она хлопает себя по лбу, – в Рим...» – «И что я там делаю? Изучаю римское право?» Она смеется: «Да какая разница... Главное, *оно* здесь, а ты – *там*».

Не прошло и месяца, а я уже не помню. Забыла. Будто ничего не было – ни его самого, ни его болезненной супруги... У женщин нет прошлого. Разлюбила – и стал ей чужой. Кто ж это сказал?

«Знаешь, – я выпиваю залпом, – последнее время что-то с головой. Забываю первоисточники». – «Ну и хрен с ними! Кому они теперь-то нужны... А что он еще сказал?» – «Кто?» – «Фридрих», – она отставляет пустую рюмку.

«Сказал, что денег у него – на сто лет». – «Видали, – Яна настроена скептически. – Да хоть на двести! Лишь бы и нам досталось... Слушай, а что если нам съехаться? Найдем хорошую, в центре. Такую, как их офисы. Бывшую коммуналку...» – «А ремонт?» – «Ничего, не все сразу... Я думала. Всю ночь. Пока тебе снилась обезьяна. Это – лучший выход, – она разглядывает бутылочную этикетку. Поднимает пьяненькие глаза. – Обыкновенная лесбийская семья. В Европе – сплошь и рядом. По телику говорят – движемся семимильными шагами. Ты – папа, я – мама. Не бойся, – Яна хихикает, – в *этом смысле* у меня минимальные потребности. Можно сказать – шиш. Укатали сивку крутые горки... Ну, что нам делать? Если нет нормальных! Сготовить, погулять, проверить уроки: Сашка маленькая, нужен глаз да глаз...» – «Ты сумасшедшая?» – «А что?» Войдя в роль, она поправляет платье. Кокетливо.

Этого мне только не хватало: стать мужиком.

«Вот, – Яна сидит пригорюнившись. – Стоит женщине задуматься о личном, и – на тебе. Да не бойся, я не по расчету. Исключительно по любви».

Не поймешь: не то придуривается, не то серьезно...

Я говорю: «Войди в берега...»

Временный ввоз

По утрам я приезжала в офис, усаживалась в приемной. У меня не было ни обязанностей, ни места.

Время ползло сонной мухой – на стеклах оставались следы.

Казалось, Фридрих про меня забыл. Или – я обмирала от этой мысли – уже сожалеет о своем предложении, считает его скоропалительным. «В ваших услугах я не нуждаюсь». Я пыталась представить себе, как он выходит из кабинета и объявляет о своем решении, подбирала достойные ответы – то грубые, то более-менее вежливые, но про себя знала точно: если это случится, я не найдусь с ответом. Просто встану и уйду.

Секретари ведут себя сдержанно. Блондинка, впрочем, приветливее: улыбается, наливают кофе. Брюнетка не замечает в упор. Иногда я предлагаю свою помощь: «Может, полить цветы?» Мне неизменно отказывают – вежливо, но твердо. Все цветы политы накануне.

Брюнетка уехала с поручением. Мне надо воспользоваться случаем, попытаться наладить контакт. В конце концов, мы обе – женщины. У женщин всегда найдутся общие темы. В Древнем Египте была традиция: знакомясь, женщины рассказывали друг другу о своих родах. Торнтон Уайлдер. *Мартовские иды*.

«А кем вы работали раньше?»

«Инженером-технологом в НИИ, – Елена отвечает охотно. У нее красивое лицо: голубые глаза, нежная матовая кожа. – Попали под сокращение – и я, и муж. Начальство освоило комнаты, чтобы сдать частным фирмам...»

Могу себе представить: еще вчера они вскакивали, как встрепанные, глушили верещанье будильников. К автобусу, с эскалатора на эскалатор, бегом – до проходной. Лишь бы успеть, расписаться, поставить росчерк в засаленной книге. Ровно в девять ее унесут как добычу, вырвут из опоздавших рук. Теперь этой книги нет. Осталась только шариковая ручка. Повисла на замызганном шнурке.

Их прежняя жизнь пахла конторским клеем, затхлыми стеллажами, заставленными картонными папками. В стеллажи въелась советская пыль: безделья, политинформаций, болтовни о *тряпках*, примерок в женском туалете, картофельной вони овощебаз, копеечных профсоюзных взносов – 5-го и 20-го каждого текущего месяца. Анекдотов, которые *травили* в курилке...

«Мы же не знали. Думали, все образуется. Директор скрывал до последнего... Вам с сахаром? – Елена размешивает растворимый кофе. Подает мне чашку, подсаживается поближе. – Мне повезло. А муж... Пока безработный. Сидит дома, следит за сыном. Нашему сыну двенадцать», – она поправляет светлые волосы.

Скорее всего, ее муж – из однокурсников. К третьему курсу отпустил бороду, ходил с рюкзакom, брэнчал на гитаре:

Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены...

«А вы?»

Теперь моя очередь рассказывать.

«Преподавала в институте. Русский язык. А Катерина?»

«На фабрике. Инженером-нормировщиком».

У брюнетки тоже дочь. На лбу печать напряженного одиночества. Для дочери она наняла *бонну* – очень приличная женщина, бывший университетский преподаватель. Недавно вышла на пенсию. Ее дочери повезло: сидела бы на продленке, а так ходит по музеям.

«Ой, слышите? – Елена прислушивается испуганно. – Кто это?..»

В коридоре чужие голоса...

«Может, радио?»

Я иду за нею следом. В коридоре пусто. Если не считать охранника, который сидит у входной двери.

Мы заглядываем в кухню. Тоже никого. Повариха уже ушла. Все убрано. На столе – перемытая посуда: стопка тарелок, чашки кверху дном на полотенце... Теперь я их слышу – слабые голоса. Откуда-то сбоку, как будто проникают сквозь стену. «А там что?» – я показываю на дверь. – «Ничего... Черная лестница». – «Может, соседи?»

Елена качает головой: «Давно расселили. В доме больше не живут. Ой, кажется, телефон!» – она бежит обратно. На свое рабочее место.

Я осматриваю помещение. Квадрат от бывшей плиты, три кухонных стола – от них остались следы, не зашарканные половой тряпкой.

Так просто не расселишь. Днем они отсиживаются за стенкой. По ночам возвращаются в свои комнаты, заставленные нашей офисной мебелью. Переодеваются в домашнее, выходят в кухню, разогревают ужин.

Тетка в синем фланелевом халате. Стоит у бывшей плиты, шевелит картошку. Картошка с котлетами – теплый мясной запах.

Семья садится к столу. Хозяйка вносит чугунную сковородку, ставит на стол. На столе – рабочий беспорядок: ведомости, черновики договоров. Они не замечают. Ставят тарелки на наши бумаги. На бумагах остаются жирные следы...

«Это Евгений Фридрихович, – Елена заглядывает в кухню. – Будет вечером. Сказал, чтобы вы дождались».

Бывшие жильцы исчезают, не проронив ни слова. Я возвращаюсь на свой пост.

По вечерам он принимает доклады – в порядке живой очереди. Начальники отделов собираются загодя, томятся в приемной. Очередь продвигается медленно. Заранее никогда не угадаешь – сегодня кому-то хватает минут десять, завтра зависнет часа на полтора. Героини вестерна работают как в хорошем ресторане: до последнего клиента.

Сегодня этот клиент – я. На часах – половина одиннадцатого.

Катерина появляется в дверях кабинета: «Татьяна Андреевна, вы можете зайти».

Фридрих роется в бумагах. Трет переносицу, зажигает настольный свет. «Вас не затруднит погасить люстру? К вечеру устают глаза».

По стенам развешаны дипломы. В прошлой жизни он работал архитектором, руководил мастерской.

«Вот, – он протягивает картонную папку. – Остальное у водителя».

Из Финляндии едет оборудование. Машина прибывает завтра. Моя задача – *растаможить*. Я не знаю этого слова.

«Это значит – получить разрешение. Оформить временный ввоз».

«Почему временный?» – «Потому что пошлина меньше. Если платить по полной – останемся без порток. Да и вообще... – он ломает целую сигарету, – черт! – сметает на пол, – государство и так неслабо поимело...»

Тут наши позиции совпадают целиком и полностью. Проклятые сойки склевали до последней крошки. Мое личное прошлое. Годы, переведенные в рубли...

* * *

Третий день я обиваю пороги. Машина ждет во дворе. Сопроводительные, учредительные, спецификации... Таможенные девочки дают объяснения. От их объяснений ссыхаются мозги. Документы, подписи, печати... По ночам я бьюсь в паутине: тонкие липкие нити. Я ворочаюсь, сбивая одеяло. По утрам просыпаюсь как в коконе. За ночь успели оплести.

Водитель приезжает дисциплинированно. Его простой оплачивается отдельно. Он помалкивает и курит во дворе. Нерастаможенные водители дожидаются своей очереди: сидят на пустых ящиках, травят дорожные байки. Таможня – гавань, куда заходят их корабли.

Фридрих несет убытки. Но это – не главное. Главное в том, что гусеница превращается в куколку. Мне уже трудно ходить. С каждым днем все труднее. Этого никто не видит. Еще день, и я не встану, просто не сдвинусь с места. Больше всего мне хочется *забиться*. Под ящики, головой в пыль...

На четвертый день я упираюсь лбом в стену: для оформления таможенной декларации нужен одиннадцатизначный код. «Образцы документов представлены на стенде. Ваш девятизначный не подходит», – таможенная девочка возвращает мне папку. Я втягиваю голову в плечи: «А где... его взять?» – «Не взять, а получить, – она называет *организацию*, кивает на стенд. – Там все написано».

Стенд занимает полстены. Неповоротливая черепаха ползет вдоль плинтуса, пересчитывая цифры: вот он. Его выдают на гербовой бумаге. Срок оформления – месяц.

Елена слушает сочувственно. Катерина стучит, не поднимая глаз от клавиш. Я дохожу до кульминации: одиннадцатизначный код.

«Им нужен подлинник?» – Катерина снимает руки с клавиатуры, выпрямляет спину. В ее глазах тлеет опасливая настороженность. «Нет, сказали, можно и копию». – «А старый подлинник?» – «Есть», – я роюсь в папке, нахожу гербовую бумагу. «Ну, так в чем же дело? – она бросает презрительно. – Вон он, ксерокс – в углу».

Куколка силится понять, извивается убогим телом. На ксероксе копируют документы. Героини вестерна не видят моих мук. Для них – простая задачка: из пункта А в пункт В.

Катерина склоняется над клавишами, печатает, выводит на принтер. Усмехается. Подает мне.

Одиннадцать цифр. Моя рука дрожит. Я боюсь вырезать криво. «А вдруг – уже *чей-нибудь*?» Героини вестерна переглядываются. Я понимаю: им смешно. *Париться* о чем-то коде, когда все вокруг ничье.

Сносная копия выходит с третьей попытки. «Вот». Я демонстрирую дело своих рук. Рано или поздно мой обман вскрыется. Когда получу подлинник, его сличат с подделкой. Когда-нибудь, но не теперь. Куколка, запертая в трусливом коконе, рвется на свободу.

Она вырвется через два часа, когда таможня примет *ничью* копию и поставит *окончательный* штамп.

Обратно я прилетаю на крыльях. «Девочки, – порхаю у порога, – вы гении!» – «Да ладно, – Катерина отмахивается, – научитесь. Кстати, а почему вы не ходите обедать?» Во-первых, не приглашали, во-вторых... «Здесь, – она понимает правильно, – обеды бесплатные. Фридрих Евгеньевич вносит *от себя*...»

Это выражение я встречала у кого-то из классиков. Я пытаюсь вспомнить: *женщины, живущие от себя*...

Теперь мы надеемся прожить *от Фридриха*. Пока что выходит не очень: запеканки, пирожки, драники. Яна проявляет чудеса изобретательности. В «Работнице» целая подборка: блюда из муки и картофеля. Я ищу оправдание: «Может, просто забыл». – «Господи, ну, возьми и напхни».

Мои родители говорили: деньги – не главное. Мне стыдно заговаривать о деньгах. Так было и раньше, с моими учениками.

Яна складывает пальцы в щепотку: «Ну, ты сравнила... Раньше! Детям, – ее щепотка ходит у меня под носом, – нечего жрать».

Раньше она бы себе не позволила. Сложить пальцы. Теперь складывает и говорит: *нечего жрать*. Я понимаю: это от бессилия. С самого детства она привыкла полагаться на себя. Гордилась тем, что ни от кого не зависит: ни от спекулянтов, ни от материнского прошлого...

* * *

В конце месяца меня приглашают в бухгалтерию. Против моей фамилии *одна* тысяча рублей. «Распишитесь». Спрятав глаза, ставлю закорючку: моя подпись предательски дрожит.

Я иду по коридору, захожу, накидываю крючок. В унитазе журчит вода. Сортир, провонявший гнилыми трубами. Что же мне делать?.. Я согласна на любую работу – лишь бы хорошо платили. Янина мать мыла сортиры. «Вот, – я складываю пальцы, сую себе под нос, – накося выкуси. Вот теперь и нюхай».

Катерина смотрит внимательно. У меня опухшие веки. Я оправдываюсь: «*Страшно* воняет в туалете. Прямо глаза слезятся... Наверное, аллергия». Елена вздыхает: «И правда, хоть не ходи... Сто раз говорила». Катерина прячет усмешку: на говно аллергии не бывает, во всяком случае, на человеческое. Говорит: «Не знаю. Вася вчера смотрел». – «Нет, – Елена не соглашается. – Мало ли что – вчера... Пусть снова посмотрит. Надо ему напомнить».

Вот именно: пойти и напомнить.

Я не успела сказать ни слова.

«Прошу, – Фридрих отсчитывает бумажки. – Ровно девять тысяч. В сумме – как договаривались. – Но, – он подбирает слова, – об этом не стоит...»

Я понимаю: коммунальное прошлое закончилось. Теперь каждый за себя...

Вечером мы с Яной строим планы. Точнее, строит она.

«Вот, – моя подруга пересчитывает тысячи. В который раз. – Зима на носу. Теперь, слава богу, ученые. Во-первых, – она загибает большой палец, – побольше мяса. *Забить* морозилку. – Про себя я отмечаю это странное выражение: будто морозильная камера – домашнее животное, которое ведут на бойню. – Чай, крупы, консервы. Да, – она замирает с оттопыренным мизинцем, – сахар. Слушай, ты не знаешь, а сыр может *лежать*?» Можно подумать, ямышь. Всю жизнь собирала сырные обрезки и складывала на черный день...

«Ну все. Пол вымою завтра. А Витька-то, представляешь, так бы и убила! Ботинки порвал, засранец». – «Купи новые». – «Ты с ума сошла! Ботинки – четыре тысячи. Это сколько ж мяса?...» – Она шевелит губами, переводя ботинки в килограммы.

«Слушай, а это – точно?» – Яна разбирает диван. «Что?» – «Ну, это... Будет *так* платить». – «Не веришь?» – «Верю. Еще как верю, – она шепчет истово. – Если, конечно, не убьют». – «Меня?» – я уточняю равнодушно. «Да типун тебе на язык!.. Твоего Фридриха. Слушай, а я ведь серьезно. Вон, по телику: то одного, то другого. Я тебя умоляю. Если что, не лезь на рожон».

«Птичка моя, – хихикаю в подушку, – ты похожа на жену комиссара». – «Я, – она не понимает юмора, – уже ни на что не похожа... А эти, секретарши, они хорошо одеты? – Я не успела ответить. – Вот! Тебя тоже надо одеть». – «Да я вроде бы и так...» – «Не-ет, –

она мотает головой. – Гардероб надо обновлять не от случая к случаю, а систематически. Я читала в журнале. А твой Фридрих – хорошо одевается?» – «Так себе», – я пожимаю плечами. «При капитализме все мужики хорошо одеваются. Лучше, чем бабы. Значит, – делает вывод, – еще не капиталист». – «А миллионы?» – «Миллионы, – Яна отвечает без запинки, – говно. Сегодня есть, завтра – нет. Главное – психология... Ой, забыла! Знаешь, кого я встретила? Светку Вострикову, из 10 “А”. Толстая, как квашня. Представляешь, переехали. В переулок Грифцова. С *евроремонтом*. Ничего себе! После их поганой-то Ульяновки. Жаловалась: говорит, растолстела, даже шапка не лезет. Нормальные люди – задницей, а она, – Яна корчится от смеха, – башкой!.. Они теперь с Постниковой. В школе грызлись, а тут, представь, подружились. На почве шмоток».

«Каких шмоток?» – я переспрашиваю.

«Помнишь, у нее еще сестра-фифа. Училась в Вагановском, пока не поперли. Выскочила за итальянца. Говорит, маленький, похож на мафиози. Счастлива!» – Яна заводит глаза мечтательно. «Постникова?! Так она же страшная!» – «Не Постникова, ее сестра. Говорит: счастье, что поперли. Стояла бы двадцать пятым лебедем. А теперь – пару раз наденет и шлет. Че-мо-да-на-ми», – она чеканит по слогам. «А Вострикова при чем? На нее ж не належет». – «Так она и не носит. Навесит ярлыки и толкает как новое. Говорит: достало мотаться челноком. Одному дай, другому отстегни – и проводники, и таможня. Постниковой тоже выгодно. В общем, молодцы девки! Поднялись».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.